

Х Е Л Е Н
У Э К Е Р

ТАЙНЫЙ ДВОРЕЦ

Роман
о Големе и Джинне

Поклонники «Голема и Джинна» ждали
продолжения восемь лет. И ждали они не зря.

BuzzFeed

Большой роман (Аттикус)

Хелен Уэкер

**Тайный дворец. Роман
о Големе и Джинне**

«Азбука»

2021

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

Уэкер Х.

Тайный дворец. Роман о Големе и Джинне / Х. Уэкер —
«Азбука», 2021 — (Большой роман (Аттикус))

ISBN 978-5-389-23926-5

Впервые на русском – продолжение «лучшего дебюта в жанре магического реализма со времен „Джонатана Стренджа и мистера Норрелла“ Сюзанны Кларк» (BookPage). Хава – голем, созданный из глины в Старом свете; она уже не так боится нью-йоркских толп, но по-прежнему ощущает человеческие желания и стремится помогать людям. Джинн Ахмад – существо огненной природы; на тысячу лет заточенный в медной лампе, теперь он заточен в человеческом облике в районе Нью-Йорка, известном как Маленькая Сирия. Хава и Ахмад пытаются разобраться в своих отношениях – а также меняют жизни людей, с которыми их сталкивает судьба. Так, наследница многомиллионного состояния София Уинстон, после недолгих встреч с Ахмадом страдающая таинственным заболеванием, отправляется в поисках лечения на Ближний Восток – и встречает там молодую джиннию, которая не боится железа и потому была изгнана из своего племени...

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-389-23926-5

© Уэкер Х., 2021

© Азбука, 2021

Содержание

Пролог	7
Часть I. 1900–1908	9
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Хелен Уэкер

Тайный дворец: Роман о Големе и Джинне

Helene Wecker

THE HIDDEN PALACE: A Novel of the Golem and the Jinni

Copyright © Helene Wecker, 2021

This edition published by arrangement with Frances Goldin Literary Agency, Inc.
and Synopsis Literary Agency

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© И. А. Тетерина, перевод, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

* * *

Идеальное чтение для взрослых, не утративших детскую веру в чудеса.
New York Journal of Books

Чтобы спасти мир (каждый – свой), голем Хава и джинн Ахмад должны на полную мощность задействовать свои как сверхъестественные силы, так и человеческие импульсы.
Historical Novels Review

Завораживающая смесь исторического романа с восточным фольклором.
Library Journal

История, магия и религия чарующе переплетаются на улицах старого Нью-Йорка.
New York Times Book Review

Самые лучшие книги вы не просто читаете, вы ныряете в них с головой, Хелен Уэкер предлагает вам опыт именно такого погружения.
USA Today

Общеизвестные катастрофы – гибель «Титаника», начало Первой мировой войны – неизбежно сказываются и на волшебных существах, и на простых смертных. И от кризиса к кризису крепнет удивительный союз несовместимых, казалось бы, сил.
Book Page

Поклонники «Голема и Джинна» ждали продолжение восемь лет. И ждали они не зря.
BuzzFeed

* * *

Посвящается Майе и Гэвину

Пролог

Среди мириад разумных рас, населяющих наш мир, рассказывать истории больше всех любят две: люди из плоти и крови и огненные джины, чьи жизни измеряются столетиями.

Истории как людей, так и джинов славятся своей изменчивостью. Сказания и тех и других, передаваемые из уст в уста, со временем претерпевают изменения, вариации множатся и ветвятся, образуя семьи, в которых, как в любой семье, возникает масса разногласий и противоречий. История, казалось бы, пресекается, а потом вдруг неожиданно воскресает, а ее старые кости обряжаются в новые одежды. А иные предания даже кочуют от расы к расе, хотя версии зачастую настолько разнятся, что в них с трудом можно опознать одну и ту же историю.

Взять, к примеру, сказание о рыбаке и джинне. Люди рассказывают его во множестве вариантов, один из которых таков.

Жил-был когда-то давно один бедный рыбак. Однажды, занимаясь своим промыслом на берегу озера, закинул он в воду невод. В первый и во второй раз вернулся невод пустым, а на третий раз вытянул рыбак из воды старый медный кувшин. Обрадовался рыбак – ведь за медь можно было выручить несколько монет, – вытащил из кувшина железную пробку, и тут в воздухе перед ним вырос огромный разъяренный джинн. Он объяснил рыбаку, что сам царь Сулейман заточил его в этот кувшин и бросил в озеро, зная, что, даже если джинну каким-то образом удастся выбраться, вода немедля погасит его пламя. Многие сотни лет джинн сокрушался в кувшине о своей злосчастной судьбе, пока ненависть его ко всем людям не стала столь сильна, что поклялся он убить любого, кто освободит его.

Рыбак молил джинна оставить ему жизнь, но джинн отказался пощадить его. Тогда рыбак попросил, чтобы джинн сперва ответил ему всего на один вопрос. Джинн нехотя согласился. «Как же ты, – спросил рыбак, – уместился в таком крошечном кувшине? Ты так огромен, что даже твой маленький мизинчик не влезет туда. Я не смогу поверить в твой рассказ, пока своими глазами не увижу, что ты все это время был в кувшине».

Разъяренный тем, что какой-то жалкий человечиска смеет подвергать сомнению его слова, джинн быстро принял бесплотный вид и забрался обратно в кувшин со словами: «Ну, человек, теперь ты видишь?» Рыбак, не теряя времени, заткнул кувшин железной пробкой, и джинн вновь оказался в заточении. Осознав свою ошибку, джинн стал умолять рыбака выпустить его из кувшина, суля ему несметные богатства и драгоценности. Но рыбак не поверил ему и зашвырнул кувшин вместе с пленником обратно в озеро, где он лежит и по сей день.

В изложении джинов же это предание звучит следующим образом.

Жил-был когда-то давно один хитрый и коварный колдун, далекий потомок Сулеймана Поработителя, и прознал он о том, что есть озеро, на дне которого, заточенный в медном кувшине, лежит могущественный джинн. Обрадовался колдун и решил сделать джинна своим слугой. Переоделся он бедным рыбаком, закинул в озеро свой невод и выудил кувшин из воды. Вытащил он железную пробку, и появился перед ним огромный джинн.

Утомленный после долгих лет заточения, джинн сказал: «Ты освободил меня, человек, и в благодарность за это я не стану тебя убивать».

Сбросил тогда колдун свои рыбацкие лохмотья и вскричал: «Ты будешь служить мне до конца своих дней!» И с этими словами начал творить заклятье, которое должно было навеки привязать к нему джинна.

Джинн знал, что, даже если он попытается улететь, заклятие будет повсюду следовать за ним по пятам. И потому быстрее вспыхи юркнул он обратно в кувшин, втянул за собой пробку и жаром своего тела так сильно нагрел тонкую медь, что колдун, обжегшись, инстинктивно отшвырнул кувшин прочь, в глубины озера.

Уязвленный и раздосадованный, колдун заявил: «Я вижу, что не было бы от этого джинна никакого проку, одна только головная боль. Пойду найду себе где-нибудь слугу получше». И с этими словами зашагал он прочь, оставив кувшин под водой на дне озера вместе с умным джинном, который решил, что быть заточенным в одиночестве в тесном кувшине лучше, чем жить рабом.

Существует еще одна история про джиннов и людей, и речь в ней тоже идет о железе и магии, клятвах и служении. Только известна она очень немногим как среди первых, так и среди вторых, и хранят они эту тайну как зеницу ока. Даже если вы найдете их и заслужите их доверие, едва ли доведется вам услышать от них эту историю, а она меж тем такова.

Часть I. 1900–1908

1

Манхэттен, февраль 1900 года

С платформы надземной железной дороги сошли мужчина и мальчик и зашагали по 67-й улице в западном направлении, преодолевая ледяные порывы встречного ветра.

Утро выдалось хмурое и ненастное, непогода разогнала большую часть горожан по домам. Немногочисленные прохожие украдкой провожали взглядами мужчину и мальчика: в своих долгополых темных лапсердаках и широкополых шляпах, из-под которых выбивались завитки пейсов, эти двое были здесь, в Верхнем Ист-Сайде, зрелищем не самым привычным. Свернув на Лексингтон-авеню, мужчина принялся расхаживать туда-сюда, напряженно вглядываясь в вывески на домах, пока наконец мальчик не нашел то, что они искали: узкую дверь с табличкой «Еврейское благотворительное общество». За дверью обнаружилась лестница, поднявшись по которой они очутились перед другой дверью, точной копией первой. Мужчина помедлил, затем расправил плечи и постучал.

Послышались шаги, потом дверь распахнулась, и на пороге появился лысеющий мужчина в очках без оправы и щегольском американском костюме.

В иных обстоятельствах посетитель мог бы представиться Львом Альтшулем, раввином синагоги на Форсит-стрит. Сопровождавший его мальчик был сыном одного из прихожан, которого равви прихватил с собой в качестве переводчика. Мужчина в костюме – фамилия его была Флейшман – мог бы поблагодарить равви за то, что тот проделал столь долгий путь в такую непогоду. Затем эти двое могли бы обсудить дело, которое свело их друг с другом: разбор личной библиотеки некоего равви Авраама Мейера, не так давно почившего с миром. Мистер Флейшман пояснил бы, что племянник покойного равви Мейера выбрал Еврейское благотворительное общество по причине того, что оно специализируется на пожертвованиях книг, но, как только библиотека равви была доставлена и все эти бесчисленные ящики с талмудической премудростью сгрузили у них в конторе, стало ясно, что без специалиста тут не обойтись.

Равви Альтшуль, со своей стороны, в ответ мог бы не без некоторого смущения, продиктованного скромностью, поведать, что известен в своем кругу как знаток талмудической науки и что всю свою жизнь – сперва в Литве, а потом в Нью-Йорке – провел в окружении подобных книг. Он заверил бы мистера Флейшмана, что Еврейское благотворительное общество сделало правильный выбор и под его, равви Альтшуля, руководством все книги покойного равви Мейера обретут новый дом.

Но ничему подобному не суждено было произойти. Вместо этого хозяин и гость застыли на пороге, взирая друг на друга с выражением неприкрытого отвращения: голову одного венчала ортодоксальная шляпа, из-под которой свисали пейсы, в то время как макушка другого была по-реформистски голой, совсем как у какого-нибудь голя.

Затем, ни слова не говоря, Флейшман отступил в сторону, и взору Альтшуля предстал огромный библиотечный стол темного дерева, заваленный горами и горами книг.

Равви Альтшуль ахнул, как жених, которому удалось украдкой взглянуть на возлюбленную.

Флейшман наконец нарушил молчание и соизволил выдать гостю инструкции. Равви надлежало рассортировать книги на группы, руководствуясь собственным разумением. После этого каждую группу следовало отправить в какую-нибудь синагогу по выбору опять же самого

Альтшуля. Мальчик срывающимся шепотом перевел все это на идиш; равви в ответ лишь хмыкнул и, ни слова не говоря, подошел к столу и приступил к разбору.

Флейшман, чья роль на этом была закончена, устроился неподалеку за письменным столом, взял газету и сделал вид, что внимательно ее читает, в то время как сам исподтишка наблюдал за гостем. Мальчик тоже не сводил с равви глаз, ибо Лев Альтшуль был фигурой внушительной и даже для собственной паствы оставался до некоторой степени загадкой. Он был вдовцом – его молодая жена Малка умерла от родильной горячки, – однако эта утрата, казалось, никак на нем не отразилась. Все ждали, что он возьмет другую жену, хотя бы только ради того, чтобы у ребенка, девочки, которую он назвал Крейндел, была мать, однако полагающийся по обычаю год траура давным-давно истек, а равви даже не думал искать себе невесту.

Правда заключалась в том, что Лев Альтшуль был не из тех людей, кого волнуют мирские соображения. Он и на Малке-то женился ради исполнения заповеди, предписывавшей правоверным плодиться и размножаться, а также поскольку она тоже происходила из уважаемой раввинской семьи, что, как он полагал, должно было сделать ее подходящей кандидатурой на роль жены раввина. Однако несчастная Малка оказалась совершенно не создана для этой задачи. Тихонькая, как мышка, она сжималась при одном только виде собственного мужа, а его паства наводила на нее еще больший ужас, особенно женщины, которые, как она подозревала, и небезосновательно, за глаза потешались над ней. Альтшуль надеялся, что материнство закалит его жену, однако же, забеременев, та начала таять прямо-таки на глазах и даже доконавшую ее в итоге родильную горячку восприняла, казалось, с каким-то мрачным облегчением. Опыт этот оказался для равви Альтшуля настолько гнетущим, что, исполнив упомянутую заповедь один раз, он решил, что проходить через все это снова не готов. Проблему отсутствия у малышки Крейндел матери он решил, за деньги подряжая какую-нибудь из многочисленных молодых мамаш из числа своих прихожанок приглядывать за девочкой. Вот и сегодня утром, получив от Еврейского благотворительного общества просьбу о помощи, он препоручил маленькую непоседу заботам одной из них.

Поначалу он хотел было наотрез отказаться: в глазах Льва Альтшуля реформисты вместе с их новомодными благотворительными заведениями были злом едва ли не почище русского царя. Особое презрение вызывали у него их социальные помощники: молоденькие немецкие еврейки, ходившие от двери к двери, предлагая дамам, которые им открывали, бесплатные яйца и молоко в обмен на согласие прослушать лекцию о современных взглядах на гигиену и питание. «Вы теперь в Америке, вы должны научиться правильно готовить пищу», – трещали они. Лев строго-настрого велел Малке не пускать настырных девиц даже на порог: он готов был скорее умереть с голоду, нежели польститься на наживку, которой они сопровождали свои речи. А теперь, когда Малка умерла, он стал осторожничать еще больше: насколько ему было известно, эти самые социальные помощники по совместительству были глазами и ушами Воспитательного дома для еврейских сирот, огромного реформистского заведения, которое, правдами и неправдами заполучив в свои цепкие лапы детей из бедных ортодоксальных семей, заставляло их забыть свои корни, свои традиции и свой родной идиш. Словом, равви Альтшуль готов был скорее прыгнуть в яму со змеями, нежели провести день в Еврейском благотворительном обществе, однако же в конце концов заманчивая возможность прикоснуться к мудрости осиротевшей талмудической библиотеки перевесила страх, и равви неохотно согласился.

Теперь, расхаживая вокруг заваленного книгами стола, он понемногу начинал понимать, что за человек был покойный равви Мейер. Книги, как и подобало библиотеке настоящего ученого, носили на себе следы многочисленных прочтений, однако содержались в образцовом порядке. Названия их, впрочем, свидетельствовали о том, что Мейер в своих изысканиях был куда более Альтшуля склонен к мистицизму, чтобы не сказать к чернокнижию. Пожалуй, доведись им с хозяином библиотеки когда-либо в жизни встретиться лично, Альтшуль мог бы сказать ему пару крепких словечек. Но сейчас, стоя в чужом холодном кабинете перед бесценным

наследием покойного равви, сваленным на этом столе точно содержимое тележки старьевщика, Альтшуль испытывал лишь глубокое сочувствие. Здесь, в этом кабинете, они с Мейером были братьями. Он переступит через разногласия и разберет библиотеку со всем возможным тщанием.

Он принялся раскладывать книги в стопки, в то время как мальчик, уже успевший заскучать, нервно переминался с ноги на ногу в сторонке. Флейшман по-прежнему сидел в кресле, с громким шелестом листая газету. «Ну неужели нельзя потише», – с раздражением подумал Альтшуль; казалось, хозяин проделывал это намеренно.

И тут он замер, наткнувшись на книгу, которая выглядела куда более старой и потрепанной, нежели все остальные. Кожаная обложка облезла и свисала с деревянных крышек ключьями, корешок тоже лопнул, обнажив сшитые в узкие тетради листки, скрепленные рассыпавшимся от старости кетгутом. Альтшуль бережно открыл ее и принялся листать, все больше и больше хмурясь при виде страниц с формулами и чертежами, перемежаемых страницами, покрытыми убогими ивритскими письменами. Большую их часть он едва мог разобрать, но те фрагменты, что он понимал, говорили о теориях, экспериментах и способностях того рода, которые, если верить рассказам, были запретны для всех, кроме мудрейших из мудрейших. Что, во имя всего святого, Мейер делал с подобной книгой?

Трясущимися от волнения руками Альтшуль закрыл книгу и увидел, что следующая в стопке выглядит в точности такой же древней и растрепанной, как и предыдущая. Как и следующая за той и следующая за следующей. В общей сложности их оказалось пять: пять книг, вмещавших в себя тайное знание, которое большинство ученых полагали утраченным навсегда и оставшимся лишь в легендах. Это были священные реликвии. Ему следовало очиститься постом и молитвой, прежде чем даже прикоснуться к ним. И вот они здесь, в Америке, и не где-нибудь, а в конторе благотворительной реформистской организации!

С колотящимся сердцем он осторожно сдвинул книги в сторону, подальше от остальных. Потом, словно ничего не случилось, взял в руки следующий, к счастью, совершенно обыкновенный том. Ему казалось, что кончики пальцев у него покалывает, словно запретные письмена проникли сквозь искореженные переплеты прямо в его кожу.

К тому времени, когда все книги были рассортированы, уже стемнело. Наконец Альтшуль подозвал мальчика и двинулся вдоль стола, на ходу отдавая инструкции. Мальчик переводил их Флейшману, который с угрюмым видом записывал за ним.

– Вот *эти* книги, – Альтшуль обвел руками большую группу книжных стопок, – надлежит отдать равви Тейтельбауму из общины Коль Исроэль на Хестер-стрит. А вон те, – еще несколько книжных башен, – в синагогу Мариамполь на Восточном Бродвее.

– А эти, – перевел мальчик, когда Альтшуль указал на последнюю одинокую кучку рассыпавшихся от старости томов, – надо отправить равви Хаиму Гродзинскому, раввину Вильны.

Рука Флейшмана, держащая ручку, застыла над бумагой.

– Кому-кому?

– Равви Хаиму Гродзи...

– Да-да, я понял, но Вильна? Это же в Литве?

Альтшуль через мальчика объяснил Флейшману, что равви Гродзинский – главный раввин Вильны, святой и важный человек. Да будь он хоть сам пророк Элияху, вспылит Флейшман. Он что, Ротшильд, что ли, чтобы оплачивать пересылку в Литву? Нет, или эти книги отправятся туда же, куда и все остальные, или пусть Альтшуль сам делает с ними, что хочет.

Равви некоторое время смотрел на него в безмолвной ярости, потом перевел взгляд обратно на стопку древних реликвий. Затем, ни слова не говоря, сгреб книги в охапку и вышел за дверь. Мальчик поспешил следом за ним на улицу.

В тот вечер, когда мать спросила у него, что понадобилось их равви в фешенебельном районе, он рассказал ей и про контору благотворительного общества, и про огромную груду

книг на столе, и про человека в очках, который демонстративно шуршал газетой, но ни словом не обмолвился о книгах, которые равви Альтшуль привез на надземке домой. Ему не хотелось вспоминать ни о том, каким жутким огнем горели глаза равви, когда тот смотрел на книги, ни о том, как они едва не проехали свою станцию, потому что очнулся равви лишь после того, как мальчик похлопал его по плечу. Равви Альтшуль никогда ему особо не нравился, но до того дня он никогда его не боялся.

Отсылать книги виленскому раввину Альтшуль не стал.

Вместо этого он завернул их в молитвенную шаль, положил сверток в фанерный чемодан, а чемодан задвинул под кровать, в самый дальний угол и продолжил жить прежней жизнью, состоявшей из посещений синагоги, молитв и преподавания иврита. Месяц проходил за месяцем, но равви Альтшуль ни разу не притронулся к книгам, хотя искушение было огромным. Не пытался он и навести справки относительно обстоятельств смерти равви Мейера, хотя не мог не задаваться вопросом: не сыграли ли книги тут какую-то роль. Он представлял себе, как это могло произойти: радость от случайной находки, бесцельное перелистывание страниц, попытка подступиться к какому-нибудь заклинанию, оказавшемуся Мейеру не по зубам, и как итог – неотвратимые последствия.

Его интуитивная догадка была верной – до некоторой степени. Книги и в самом деле ускорили смерть равви Мейера, мало-помалу подтачивая его силы в процессе их изучения, – не из самонадеянного желания овладеть заключенной в них премудростью, но в попытке удержать в узде опасное существо, волею судьбы оказавшееся на попечении Мейера, которое он приютил у себя и к которому успел привязаться. Существо это было големом, которому его создатель придал обличье человеческой женщины – довольно рослой и неуклюжей, но в остальном совершенно ничем не примечательной. Звали голема Хава Леви. Она работала в пекарне Радзинов на углу Аллен- и Деланси-стрит, кварталах в семи от синагоги Альтшуля. Для своих коллег она была неутомимой Хавой, которая могла за две минуты заплести целый противень хал и порой предугадывала пожелания покупателей еще до того, как те успевали высказать их вслух. Для хозяйки пансиона на Элдридж-стрит, где она жила, Хава была тихой и спокойной жилищей, искусной швеей, которая подрабатывала ночами, штопая и перешивая чужие вещи на заказ. Она справлялась с этим так быстро, что восхищенные клиенты порой спрашивали ее: «Хава, когда вы успеваете спать?» Правда, разумеется, заключалась в том, что спать ей не требовалось.

Сирийская пустыня, сентябрь 1900 года

В пустыне, к востоку от человеческого города аш-Шам, также именуемого Дамаском, два джинна гонялись друг за другом меж барханов.

По меркам их расы лет им было совсем мало, всего каких-то несколько десятков. Многие тысячелетия их клан обитал в укромной долине, на отшибе от человеческих империй, которые росли, угасали и по очереди завоевывали одна другую. Юные джинны носились в вышине, пытаясь перехватить друг у друга поток воздуха, верхом на котором восседал соперник, – игра эта была среди их ровесников чрезвычайно распространена, – когда вдруг один из них заметил нечто крайне странное: с запада в их сторону направлялся какой-то мужчина. Человеческий мужчина. Он был высок, худ и с непокрытой головой. В руке он держал издававший виды сак-вояж.

Юные джинны изумленно засмеялись. Люди нечасто забредали в эту часть пустыни в одиночку, а уж пешком так и вовсе никогда. Каким ветром занесло сюда этого безумца? Потом смеяться они перестали: он подошел ближе, и стало понятно, что это не человек, а один из их сородичей. Он подошел еще ближе – и обоих джиннов внезапно охватил инстинктивный ужас.

Железо! Он несет железо!

И впрямь запястье незнакомца плотно охватывал блестящий кованый браслет. Но... как такое было возможно? Неужто он не испытывал перед железом никакого страха, не чувствовал обжигающей боли? Да *что* же он такое?

Озадаченные юнцы полетели обратно в долину, чтобы рассказать старшим о том, что видели.

Человек, который на самом деле был не человеком, подошел к долине.

Юнцы не ошиблись: он и в самом деле был джинном, существом из живого огня. Когда-то, как и они все, он волен был принимать обличье любого животного, летать по воздуху на крыльях ветра, незримый никакому глазу, и даже беспрепятственно проникать в чужие сны, но давным-давно утратил эти способности. Железный браслет у него на запястье был создан могущественным колдуном, который пленил его, запер в человеческом обличье и для надежности заточил в медный кувшин. В этом кувшине он просидел более тысячи лет – которые пронеслись для него как один нескончаемый миг, – до тех пор, пока в одном городе на другом краю земли ничего не подозревающий жестянщик не вскрыл кувшин и не освободил его. Способность говорить на языке джиннов он также утратил, ибо тот был порождением ветра и пламени, неподвластным человеческому языку. В саквояже его лежал тот самый медный кувшин, который тысячу с лишним лет был его тюрьмой, а теперь стал темницей для того самого колдуна, который пленил его. Победа эта далась ему немалой ценой. И теперь он вернулся в то место, которое некогда было его домом, чтобы спрятать кувшин подальше от мира людей.

Он дошел до края долины и остановился, выжидая. Вскоре он заметил их – фалангу джиннов, отправленных на разведку. Те двое юных джиннов тоже вернулись вместе с ними, но были не настолько отважны, как старшие. Приняв обличье ящериц, они юркнули в кусты неподалеку от ног незнакомца в надежде, что миниатюрный размер поможет им остаться незамеченными.

Что ты такое? – спросили старшие джинны.

И тогда пришелец поведал им свою историю.

Весть о пришельце облетела всю долину.

Вскоре сотни джиннов сгрудились на горных вершинах, наблюдая оттуда за тем, как он, стоя на коленях, голыми руками выкапывает в песке яму. Тем временем два давешних юнца перелетали от одного товарища к другому, возбужденно пересказывая историю, которую услышали от него, находясь в обличье ящериц.

Он один из нас, появившийся на свет в этой долине и плененный могущественным колдуном тысячу с лишним лет тому назад...

Железный браслет у него на руке заколдован, он не дает ему сбросить человеческую личину...

Часы текли один за другим, а пришелец все трудился и трудился, не обращая внимания на зной. Наконец он открыл саквояж и достал кувшин. Медные бока засияли в лучах полуденного солнца.

Вот, видите? Это была его темница! А теперь там, внутри, сидит сам тот колдун!

Кувшин исчез в яме вместе с растрепанной стопкой бумаг.

Там его заклинания! – предположили вслух юнцы; их догадка оказалась верной.

Затем пришелец засыпал яму землей и песком, сложил сверху пирамидку из камней, чтобы отметить место, и поднялся, отряхивая руки.

Старшие джинны тоже все это время внимательно за ним наблюдали. Слетев с горных вершин, они обратились к нему с вопросом, и горы эхом отразили их голоса.

Но как же ты будешь жить, спросили они, заточенный в человеческом теле и скованный железом? Что ты станешь делать, куда пойдешь?

– Я вернусь домой, – отозвался бывший узник медного кувшина.
И, ни слова больше не говоря, покинул долину и скрылся в пустыне.

История о скованном железом джинне передавалась от одного джинна к другому.

Главное во всех этих рассказах совпадало: пришелец, железный браслет, кувшин и яма, в которую его закопали. А дальше начинались многочисленные расхождения, которые множились и ветвились. Одни утверждали, что его видели поблизости от незримых развалин древнего стеклянного дворца, от чьих стен и шпилей практически ничего не осталось. Другие упоминали о том, что какой-то джинн в человеческом обличье был замечен на пути в Гуту, опасный оазис, раскинувшийся вдоль восточной границы Дамаска, где болотные твари подстерегали прохожих джиннов, чтобы затащить в воду, в которой им, сотканным из живого пламени, очень быстро приходил конец.

Но зачем ему понадобилось туда идти? – недоумевали слушатели.

Возможно, для того, чтобы покончить со своей несчастной жизнью, предполагали некоторые.

Другие же вспоминали его слова: *Я пойду домой.* И мысли их обращались к землям, лежащим за Гутой, к миру людей и железа. Так вот что он имел в виду? Неужели он теперь живет там, среди них? Это казалось невыносимым. Жить в человеческом обличье, как один из них, передвигаясь по земле, а не по воздуху, укрываться от смертоносных дождей в их строениях, говорить с ними на их языках – как долго можно все это выносить? Эдак скоро воды Гуты покажутся благословенным избавлением!

Так они толковали и спорили меж собой, снова и снова пересказывая друг другу эту историю. И вскоре она обрела достаточный вес и оформилась для того, чтобы зажить своей жизнью, вырваться за пределы долины и, подобно своему необыкновенному герою, отправиться странствовать по местам, где ее совершенно не ожидали.

В реальности же скованный железом джинн благополучно миновал Гуту, ибо болотные твари испытывали перед ним точно такой же страх, как и их пустынные сородичи. Об истории, героем которой он нечаянно стал, истории, которая разрослась и превратилась в легенду, он и не подозревал. Он знал лишь, что ему нужно успеть на корабль.

В Дамаске он сел на поезд, который перевез его через горы, в Бейрут. Оттуда, прямо из порта, он отправил международную телеграмму-«молнию», после чего встал в очередь на посадку на свой рейс. Очередь еле двигалась. Он старался сохранять терпение. С тех пор как он освободился из кувшина, прошел уже год, а обуздывать собственное нетерпение по-прежнему стоило ему немалых усилий. Он подозревал, что так будет всегда. Закрыв глаза, он нащупал в кармане билет и стал слушать крики чаек в вышине и плеск волн, бьющихся о причал. День был сырой, и кожу его там, где с ней соприкасался воздух, покалывало от влаги. Джинн старался думать о предстоящем ему путешествии: сперва до Марселя, где надлежало пересестись на пароход «Галлия», а затем на нем совершить трансатлантический переход до Нью-Йорка. Путь обещал быть долгим и полным лишений, но в конечном итоге должен был закончиться. Джинн старался не вспоминать ни пустыню, ни своих сородичей на ветру, ни звуков воздушного языка, говорить на котором больше не мог. Ему хотелось бы задержаться там подольше, вести со старшими джиннами неспешные беседы, часами и днями, о чем угодно. Но какой в этом был толк? Нет, лучше уж сделать дело и уйти своей дорогой. Вернуться в Нью-Йорк и исполнить обещание, которое он дал.

Наконец подошла его очередь, и он протянул агенту в щегольской униформе свой билет.
– Имя? – спросил агент.

– Ахмад аль-Хадид. – Это, разумеется, было не его настоящее имя, ну так что ж? Зато он сам его выбрал: Хадид потому, что это означало «железо», а Ахмад – просто потому, что ему нравилось, как оно звучит.

Агент сделал ему знак проходить, и джинн уже двинулся было по трапу вверх, как тут вдруг к нему подбежал мальчик с телеграфа и с торопливым поклоном передал сложенную «молнию».

Джинн прочитал ее и улыбнулся.

Высокая женщина в темном плаще шла по обсаженной деревьями аллее Бруклинского кладбища, сжимая в ладони маленький камешек.

Был ясный и холодный октябрьский день. Осень давно уже раскрасила деревья в цвета ржавчины и золота, и землю укрывал такой толстый слой опавшей листвы, что под ней не видно было тропинки. И тем не менее женщина безошибочно свернула в нужном месте и двинулась меж рядов каменных надгробий к свежей могиле. *Майкл Леви, возлюбленный муж и племянник*. Равви Авраам Мейер, его дядя, покоился совсем рядом, в соседнем ряду.

«Возлюбленный муж». Это была благонамеренная ложь. Не сам их брак, нет; она могла с полным правом именоваться Хавой Леви, хотя успела выйти замуж и овдоветь менее чем за три месяца. Но любовь? Она хранила свое происхождение в тайне, а брак их построила на неведении мужа, и он не задался с самого начала. А потом Майкл в конце концов узнал правду – не из ее уст, но из записей Иегуды Шальмана, отъявленного мерзавца. Это он, Шальман, создал ее, глиняную невесту для разорившегося мебельного фабриканта по имени Отто Ротфельд, который хотел начать новую жизнь в Америке с новой женой в придачу. Но до Америки Ротфельд так и не добрался, умер прямо посреди Атлантики, оставив ее, Хаву, в полной растерянности и одиночестве, без малейшего представления о том, как все устроено в мире людей. Она знала лишь, что должна любой ценой скрывать от них свое происхождение. А потом и сам Шальман тоже приехал в Нью-Йорк, где узнал правду о себе самом: он оказался очередным земным воплощением бессмертного колдуна из пустынь, который тысячу лет назад пленил могущественного джинна, сковал его железом и заточил в медный кувшин. В конечном итоге Шальман потерпел поражение, но прежде успел убить Майкла. Хава не могла отделаться от мысли, что эта трагедия на ее совести.

Присев на корточки, она собрала с могильной плиты опавшие листья.

– Привет, Майкл, – пробормотала она. Всю дорогу на трамвае до кладбища она обдумывала, что скажет, но теперь все слова казались вымученными, неподходящими. Она все равно продолжила: – Прости, что обманывала тебя. Твой дядя как-то сказал, что мне всю жизнь придется обманывать окружающих и что это будет нелегко. Он, разумеется, был прав. Как обычно. – Она печально улыбнулась, но улыбка быстро исчезла с ее лица. – Я не прошу у тебя ни разрешения, ни благословения. Я надеюсь лишь, что ты поймешь. Если бы ты остался жив, я была бы тебе верной и преданной женой и не сказала бы тебе больше ни слова неправды. Но, думаю, долго это бы не продлилось.

Наверное, она просто говорила себе то, что желала услышать. Захотел бы он остаться с ней? Был бы счастлив? Она не родила бы ему детей, не старилась бы, не изменялась. Она опустила глаза на камешек, который принесла с собой и все это время держала в руке, вылепленной из глины с берегов прусской реки. При желании она могла бы сжать кулак и стискивать его до тех пор, пока сквозь пальцы не посыпался бы песок. Нет. Майкл не захотел бы такую жену. После того, как узнал правду.

Времени было в обрез. Она договорилась кое с кем встретиться на Манхэттенском пирсе. Обещание надо было сдержать. Она положила камешек на гладкую гранитную плиту в знак того, что приходила навестить могилу. Она видела такое на других еврейских надгробиях. Это было как-то веселее и долговечнее, чем цветы.

– Надеюсь, ты обрел покой, – произнесла Голем вслух.

* * *

«Галлия» подходила к пристани.

На причале толпились мужчины в осенних шляпах и пальто, среди которых кое-где виднелись женщины в таких же, как у нее самой, плащах. Все они ждали своих отцов и матерей, жен и детей, дальних родственников, деловых партнеров, тех, кого знали в лицо, и тех, кого не видели ни разу в жизни. Толпа вокруг колыхалась, наполняя мысли Голема своими страхами и желаниями.

Уж не мама ли это там, у ограждения? Господи, прошу тебя, пусть он никогда не узнает о том, что произошло, пока его не было... Если он не договорился о поставке, мы разорены...

Станным и сомнительным был этот дар, доставшийся ей в наследство после кончины Ротфельда. Лишившись своего повелителя, пожеланиям и распоряжениям которого Голем создана была следовать, она взамен обрела способность улавливать пожелания и распоряжения всех остальных. Поначалу ей было невероятно сложно не бросаться тотчас же исполнять их, однако со временем она научилась противостоять этому побуждению и отгораживаться от чужих голосов в голове. Временами они по-прежнему проникали сквозь ее защиту, когда она бывала чем-то озабочена или расстроена или просто напряженно о чем-то думала. Однако по большей части они оставались смутными шепотками, существовавшими где-то на краю ее сознания.

И красной нитью сквозь сонм этих чужих страхов и желаний, не тише и не громче, пробивался монотонный звук на одной-единственной ноте: застывший крик Иегуды Шальмана, заточенного в кувшине на другом краю земли. Теперь этот звук с ней навсегда. Что ж, не такая уж это и большая цена, если учесть, что она едва не потеряла вообще всё.

Наконец спустили трап, и по нему тонким ручейком потекли пассажиры – и тут она увидела его. Высокий и красивый, он, по своему обыкновению, был без шляпы, а его выдавший виды саквояж припорошила пыль пустыни. Лицо его светилось, точно озаряемое изнутри огнем: признак его истинной природы, зримый лишь для тех, кто, как она, обладал способностью это видеть. На запястье у него поблескивал железный браслет, сделавший его пленником; кроме того, железо окутывало непроницаемой завесой его разум, делая его единственным в этой толпе – если не в целом мире, – чьи мысли она не могла уловить.

Он, видимо, заметил ее еще с палубы, потому что безошибочно двинулся напрямик к ней. Они стояли посреди толпы, обтекавшей их с обеих сторон, и в то время, как воздух оглашался приветствиями на десятке различных языков, молча улыбались друг другу.

– Ну что? – произнес наконец Джинн. – Пошли пройдемся?

Они направились в Центральный парк. Саквояж он все это время нес в руке.

Они бродили по аллеям парка молча, хотя им было что сказать друг другу. Ей хотелось расспросить его о пустыне и о сородичах-джиннах, о которых он ничего никогда не говорил. Что он почувствовал, снова оказавшись среди своих? Она полагала, что это была смесь боли, радости и сожаления – разве могло быть иначе? Но возможно, он пока не готов об этом говорить, а ей не хотелось причинять ему боль, затевать спор сразу после его возвращения. Они успеют поговорить после. А пока что ей просто хотелось снова побыть с ним.

У него тоже были вопросы, которые хотелось ей задать. Как ей жилось на протяжении последних нескольких недель? Он не мог не думать о Майкле, ее покойном муже, которого он никогда не видел. Она наверняка горевала по нему, хотя ничем не выказывала этого внешне. Наверное, ему следовало бы ее спросить, но он ведь ничего не знал об этом человеке, не говоря

уже о каких-то подробностях их непродолжительного брака, да не очень-то и хотел знать, если уж совсем начистоту. Куда проще было пока что не касаться этой темы и просто наслаждаться ее обществом.

Мало-помалу тени становились длиннее, толпы гуляющих поредели. Когда они вышли на эспланаду, он заметил, что она жмет к нему, и запоздало вспомнил, что в его отсутствие она вынуждена была по ночам сидеть дома – заложница общественной установки, согласно которой ни одна добропорядочная женщина не должна появляться на улице без сопровождения мужчины после наступления темноты. Он улыбнулся, наблюдая за тем, как она любит величественными вязами, и испытывая странную гордость быть тем, чье присутствие рядом с ней означает, что она может гулять по залитым светом фонарей мостовым и наслаждаться прохладным туманным воздухом. И она тоже улыбнулась, радуясь возможности ощутить повсюду вокруг жизненную силу огромного парка, силу, подобно ее собственной исходившую от земли.

Они вышли из парка через ворота Коламбус-Серкл и двинулись по Бродвею на юг. Каждый пятачок, который они проходили: и Медисон-сквер с ее аккуратными дорожками, и Вашингтонская арка, залитая электрическим светом, – были памятными вехами их отношений, местами, где они когда-то спорили или ссорились. Именно здесь они по-настоящему узнали друг друга. Теперь оба в молчании вслушивались в отголоски их былых словесных баталий, но с улыбкой, без злобы, в полном согласии воскрешая в памяти те давнишние ощущения.

Наконец они дошли до Нижнего Ист-Сайда, где находился ее пансион. Она вскинула глаза на темный прямоугольник своего окна, потом перевела взгляд на его рдеющее лицо.

– До завтра? – произнес он вопросительным тоном.

– До завтра, – согласилась она, и они распрощались.

Он в одиночестве зашагал на запад. Пересек Бауэри-стрит, промелькнувшую всплеском шума и света, и двинулся дальше, через ночной Сохо, район Чугунных домов, мимо крашенных металлических фасадов. На Вашингтон-стрит он снова свернул в южном направлении и пошел мимо закрытых ставнями витрин магазинов и табачных лавок. Справа тянулась Вест-стрит и за ней река; до него доносились крики грузчиков, грохот бочек, смех из подвального кабачка. Дома слева стали уже и угловатей, улицы стеснились, да и сам остров сузился: эта его оконечность, вернее, район, расположившийся на ней, именовался Маленькой Сирией. На улицах царили темнота и тишина, если не считать одиноко светящейся витрины расположенной в полуподвальном этаже крохотной лавчонки. Вывеска над ней гласила «АРБЕЛИ И АХМАД. РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ». Сквозь мутное стекло можно было различить силуэт мужчины, которого сон сразил прямо за деревянным верстаком: голова его покоилась на сложенных руках, спина мерно вздымалась и опадала во сне.

Джинн осторожно открыл дверь, потянувшись зажать ладонью колокольчик, но Арбели все равно проснулся. Он распрямился, протер глаза и улыбнулся.

– Ты вернулся, – произнес он.

– Вернулся, – подтвердил Джинн и наконец поставил на пол пустой саквояж.

2

К востоку от Центрального парка, на Пятой авеню, в особняке, поражавшем великолепием даже на фоне прочих роскошеств этой улицы, собиралась в дорогу молодая женщина по имени София Уинстон.

Будь это обыкновенное путешествие, слуги сейчас сбивались бы с ног, чтобы успеть сделать последние приготовления. Вместо этого они старались на цыпочках прошмыгнуть мимо полуоткрытой двери спальни, за которой их хозяйка деловито складывала чемоданы перед камином, огонь в котором пылал так яростно, что жар от него чувствовался даже в конце коридора. Мать девушки категорически запретила слугам не только помогать ей в сборах, но и

вообще заговаривать с ней о чем-либо. Им даже не сообщили, куда их молодая хозяйка едет. Вынужденные пойти на крайние меры, горничные порылись в мусорной корзине девушки и обнаружили там смятый листок бумаги.

Юбка для верховой езды, ботинки на низком каблуке, три пары длинных шерстяных гольфов. Брезент, воощенная нить. Аспирин в водонепроницаемых жестянках. Шесть дюжин шпилек для волос из высококачественной стали.

Все это куда больше походило на приготовления к географической экспедиции, нежели к увеселительной поездке, однако, как ни пытались они выведать еще что-либо, все усилия оказались тщетными. Так что они изо всех сил делали вид, что их молодая хозяйка вовсе не собирается тайно куда-то отправиться, в то время как – если бы все пошло по плану – она сейчас должна была бы отплывать в свадебное путешествие.

В другом конце особняка, в своем личном кабинете, мать Софии, Джулия Хамильтон Уинстон, сидела за маленьким изящным бюро, разглядывая средних лет чету напротив. Одинаково крепкие, с выдубленными солнцем грубыми лицами, они были мужем и женой – ну или, во всяком случае, таковыми представлялись. В общем и целом эти двое были совершенно ничем не примечательны, что претило тонкой аристократической натуре Джулии, однако же она не могла не признать, что в данном случае это подходило лучше всего.

– Ваша задача будет заключаться в следующем, – сообщила она им. – Во-первых, вам предстоит исполнять обязанности прислуги при мисс Уинстон. Вы будете вести все ее хозяйство, а также состоять при ней компаньонами и присматривать за ней.

Супруги кивнули с таким видом, как будто в том, что двадцатилетняя девушка отправляется за границу в полном одиночестве, сопровождаемая только двумя незнакомцами в роли слуг, не было ровным счетом ничего необычного.

– Она составила маршрут, и я его одобрила, – продолжила Джулия. – Вы пробудете за границей приблизительно шесть месяцев.

Она придвинула к ним лист бумаги. Они молча взяли его и все так же молча пробежали глазами.

– Никогда в жизни не была в Индии, – заметила женщина.

– Но, я надеюсь, за границей-то вам бывать доводилось? – уточнила Джулия.

– Да, мэм, – произнес мужчина. – Главным образом в Мексике.

При этих словах Джулия нахмурилась – оставалось только догадываться, чем эти двое могли там заниматься, – однако продолжила инструктаж.

– Моя дочь недавно перенесла тяжелую болезнь, – сообщила она. – К счастью, она полностью оправилась, если не считать затянувшейся анемии. Время от времени у нее дрожат руки, и ей часто бывает холодно. Возможно, иногда вам придется помочь ей одеться, но не обращайтесь с ней как с ребенком, особенно на публике.

Супруги снова невозмутимо кивнули.

– Теперь ко второй части. – Она замялась, на мгновение утратив высокомерный вид. – В прошлом году моя дочь, исключительно в силу своей невинности, подпала под влияние опасного иностранца, человека, который, как я полагаю, является предводителем международной банды злоумышленников. Однажды утром, этой весной, он проник в наш дом в сопровождении шайки своих сообщников. К счастью, тогда нам удалось выдворить их, однако они по-прежнему могут вынашивать в отношении нее коварные планы.

– Вы можете его описать?

– Высокий, смуглый, лет тридцати на вид, – отвечала миссис Уинстон. – Дочь называла его Ахмадом, хотя я не уверена, что это его подлинное имя. Ваша задача – оградить ее от этого человека и ему подобных. Вы будете регулярно присылать мне отчеты о ее здоровье и поведении на публике, особенно в присутствии представителей противоположного пола. И,

насколько это будет возможно, не спускайте с нее глаз. – Она помолчала. – Я надеюсь, упоминать о том, что София будет осведомлена только относительно первой части ваших обязанностей, излишне.

– Само собой разумеется, мэм, – заверила ее женщина. – Мы все понимаем.

На этом собеседование было окончено. Мужчину и женщину проводили до выхода.

Оставшись одна, Джулия устало потерла глаза. Приходилось только догадываться, какие выводы эти двое сделали из преподнесенной им истории. О сорвавшейся помолвке дочери она целиком и полностью умолчала; особого отношения к делу это не имело, а ей и так пришлось, проглотив собственную гордость, достаточно унизиться перед этими незнакомцами. Не стала она упоминать и о гипнотических способностях, которые этот Ахмад, по всей видимости, пустил в ход, поскольку тогда пришлось бы рассказывать и о том, как ее собственный муж, один из самых влиятельных людей в Америке, клялся и божился, что у него на глазах этот проходимец заживо сгорел в камине, после чего материализовался вновь без единой царапины.

Да еще эта дочкина «болезнь». Джулия присутствовала при том, как она началась. Это произошло во время их поездки в Европу. Еще много недель потом она не могла выбросить из головы картину распростертой на паркетном полу без сознания дочери в насквозь промокших от крови юбках. Доктора списали все на обычное женское недомогание, пугающе выглядящее, но неопасное. А потом, когда стало ясно, что приступы дрожи и озноба проходить не собираются, стали намекать, что недуг Софии лежит в области не телесного, но душевного нездоровья.

Тогда Джулия отмахнулась от этого предположения, но потом, после того как те иностранцы ворвались к ним в дом и София, в полной мере воспользовавшись разразившимся скандалом, разорвала помолвку с облегчением женщины, в последнюю минуту избежавшей гильотины, начала задумываться: а не так ли уж доктора были не правы. Ведь не было никаких разумных причин, которые могли бы сподвигнуть Софию так яростно действовать вопреки собственным интересам и добровольно лишиться всех тех привилегий, которыми так щедро осыпала ее жизнь; это казалось чем-то вроде акта саморазрушения, подобно тому как возница гонит карету с пассажирами к обрыву, прекрасно отдавая себе отчет в том, что и сам тоже неминуемо погибнет. Как еще это можно назвать, если не безумием?

Стук в дверь прервал ее размышления. В комнату с виноватым видом вошла горничная.

– Только что принесли записку от мистера Уинстона, мэм. Он просит вам передать, что задержится на работе из-за неотложного дела и пропустит ужин.

Джулия со вздохом отпустила девушку. С тех пор как София приступила к исполнению своего плана, ее муж принялся изобретать всевозможные предлоги, лишь бы не находиться дома. Неплохо устроился, учитывая, что сам же и приложил к этому руку! Вряд ли Софии пришла бы в голову подобная мысль, если бы Фрэнсис не позволял ей часами просиживать в его библиотеке, глотая мемуары путешественников и археологические журналы! С таким же успехом он мог бы собственноручно распахнуть перед бандитами двери своего дома!

Фрэнсис Уинстон, сидя в одиночестве в своем кабинете на Уолл-стрит, задумчиво смотрел на вечерний поток повозок и людей за окном. На столе громоздилась кипа нетронутой корреспонденции.

Его записка Джулии была ложью, и он презирал себя за то, что написал ее, не потому, что ему особенно претило лгать жене, но потому, что это делало его в собственных глазах слабаком, человеком, вынужденным подстраиваться под чужие планы. Но и возвращаться в особняк, где его некогда полная жизни дочь теперь целыми днями, дрожа, сидела у камина, а жена не упускала ни единой возможности хоть словом, хоть взглядом упрекнуть его в этом, тоже было выше его сил.

Впрочем, хуже всего было то, что Джулия, пожалуй, была права. Фрэнсис Иеремия Уинстон был потомком торговцев пушниной и лесопромышленников, людей, которые измеряли свое благосостояние в акрах земли, в количестве дождей и солнечного света, в перейденных вброд реках и расставленных силках. По мере того как одно успешное поколение сменялось следующим, еще более успешным, эти первобытные ценности трансформировались в более цивилизованные активы: недвижимость, акции железнодорожных компаний, пароходства, оружейные заводы. Фрэнсис не сожалел об эволюции, которая вознесла Уинстонов на одну ступень с такими семьями, как Асторы или Вандербильты, и все же не мог не чувствовать, что это произошло ценой утраты какой-то жизненной силы. Так что, когда маленькая София стала проявлять интерес к путешествиям и археологии и изъявила желание услышать истории времен его холостяцкой жизни, которую он посвятил охотничьим экспедициям и лазаниям по руинам, Фрэнсис в глубине души был доволен. Доктора в один голос выражали сомнения в том, что Джулия сможет благополучно выносить еще одного ребенка, так что казалось вполне логичным, что единственная продолжательница рода унаследует от отца исследовательский дух. К тому времени, когда на свет появился маленький Джордж, ставший, на взгляд Фрэнсиса, доказательством скорее решимости Джулии всегда и во всем добиваться своего, нежели того, что чудеса случаются, София уже в каком-то смысле успела стать для него одновременно и дочерью, и сыном. Изучение естественных наук, рассудил он, склонит ее к тому, чтобы выйти замуж и обзавестись потомством, когда придет ее пора.

А потом его мир разлетелся вдребезги.

Он не поехал тогда в Париж и потому не присутствовал при падении, положившем начало странному недугу его дочери. А если бы присутствовал, то вспомнил бы еще один эпизод из своей холостяцкой жизни: ночь в случайном борделе в Калифорнии, когда он спьяну сунулся не в ту дверь и успел мельком увидеть, как хозяйка с трудом удерживает над ночным горшком стонущую от боли в полубеспамятстве девушку, всю в крови, что-то вполголоса приговаривая на испанском. Но Фрэнсис предпочел принять благовидную выдумку про «женские дела» за чистую монету. А когда жена с дочкой вернулись и он увидел Софию, бледную, с трясущимися руками, он все равно упорно продолжал в это верить – до того самого утра, когда из пылающего камина в их столовой к ногам Софии выкатился обнаженный незнакомец. А она не убежала и даже не вскрикнула от неожиданности. Она склонилась над ним и взяла его за руку. Она произнесла его имя.

«Ей заморочили голову, – твердила впоследствии Джулия, когда он потребовал от нее признать очевидную горькую правду. – Ее втянули в это обманом». Но Фрэнсис, в отличие от жены, видел выражение лица дочери, когда он бросился ее спасать. И это было отнюдь не выражение обманутой невинности, о нет – это был явный вызов, неприкрытая готовность взбунтоваться.

Так что, когда София объявила о своем желании разорвать помолвку и уехать из страны, он сразу же согласился. Пусть уезжает, пусть живет, где хочет, возможно, тогда ему удастся забыть, кем она для него была. Лишь теперь он начинал осознавать, во что она превратилась во многом благодаря его собственному попустительству.

Стоя спиной к пылающему камину, который не угасал теперь в ее комнате никогда, София Уинстон распрямилась и оглядела содержимое чемоданов, затем принялась сверяться со своими списками. По коридору, перешептываясь, сновали слуги; она не стала обращать на них внимания и занялась вместо этого стопками книг, которые претендовали на драгоценное место в ее чемоданах. «Вестник библейской археологии». «Турция: прошлое и современность». «Фольклор палестинских крестьян». «Грамматика арабского языка для начинающих». «Заметки из экспедиции к реке Иордан». «Сирийские обычаи и верования». Она пыталась отсеять часть из них, но выбрать оказалось решительно невозможно, так что все они отправи-

лись в чемодан. София не в первый уже раз подумала, что мать оказала ей неоценимую услугу, запретив слугам помогать ей, в противном случае кто-нибудь из них мог бы обратить внимание на то, что ни одна из ее книг не имеет ровным счетом никакого отношения к Индии.

София Уинстон никогда не собиралась бунтовать против родителей. Напротив, она давно смирилась с той жизнью, которую распланировала для нее мать: с помолвкой, которой она не хотела, с бессмысленной светской жизнью. А потом в один прекрасный осенний день она познакомилась в Центральном парке с мужчиной, иностранцем, который представился ей как Ахмад. В ту же ночь она обнаружила его у себя на балконе и неосмотрительно позволила ему... определенного рода вольности. Этим дело бы и закончилось – вот только он оказался не обычным мужчиной, а существом из живого пламени. И крохотная частичка этого пламени поселилась и некоторое время росла внутри нее – до тех пор, пока в номере отеля в Париже ее тело не исторгло это, оставив ее дрожать от постоянного холода.

София знала, что мать опасается за ее рассудок; она могла лишь догадываться, что было бы, расскажи она родителям правду. Они отправили бы ее к специалистам, и тогда София бесследно сгинула бы в стенах какой-нибудь комфортабельной тюрьмы, аккуратно вычеркнутая из жизни. Нет уж, куда лучше было самой вычеркнуть себя, исчезнуть по собственному желанию. Она многое почерпнула из отцовских историй и книг, которые он позволял ей бесконтрольно читать вопреки дурным материнским предчувствиям, и теперь в обличье молодой путешественницы и искательницы приключений намеревалась побывать в пустыне, откуда родом был тот мужчина из пламени, и в тех странах, что лежали по соседству: в Сирии и Турции, в Египте и Хиджазе. Там она будет тайно искать способ избавиться от того, что он с ней сделал, и не вернется домой до тех пор, пока не найдет его.

Уинстоны провожали дочь на пристани, как будто она отправлялась в самое обычное плавание.

Первыми на борт «Кампании» поднялись двое новых слуг, чтобы подготовить каюту, в то время как София и ее родные стояли у трапа, не зная толком, что друг другу сказать. Наконец пароход предупреждающе загудел. Ни мать, ни отец не попытались даже обнять ее, лишь молча смотрели, как она присела, чтобы на прощание прижать к себе маленького Джорджа.

– До свидания, – сказала она им и в одиночестве двинулась вверх по трапу.

Джордж хотел остаться и посмотреть, как корабль будет отплывать, но быстро замерз и начал перетаптываться с ноги на ногу. Джулия увела его прочь, в экипаж. Он даже не пытался протестовать. Оставшись в одиночестве, Фрэнсис еще долго провожал взглядом «Кампанию», которую несколько буксиров, пыхтя, оттащили от пристани и потянули за собой в Гудзон. Он ведь даже не попрощался с дочерью по-настоящему, не дал ей ни совета, ни напутствия наедине. Он ожидал, что теперь, глядя вслед пароходу, будет сожалеть о своем молчании, но не испытывал ничего, кроме зависти, по-детски угрюмой и пронзительной.

Закутанная в целый ворох шерстяных шалей, София дрожала на палубе «Кампании», глядя на то, как Гудзон расширяется и превращается в залив, а береговая линия чем дальше, тем больше становится похожа на широкий бурый мазок на фоне голубого неба. Город все удалялся и удалялся, пока не сузился до точки, а потом и вовсе исчез за горизонтом.

«Я вырвалась», – подумала София.

Она утерла слезы и пошла вниз, в каюту.

Очень скоро новоиспеченные слуги Софии Уинстон начали подозревать, что их хозяйка задалась целью сделать выполнение их обязанностей как можно более затруднительным.

Например, девушка наотрез отказалась выходить из каюты даже ради того, чтобы прогуляться по палубе и немного подышать свежим воздухом. «Может, вас одолевает морская

болезнь?» – беспокоились они. «Нет, – отвечала она, – мне просто не хочется находиться на ветру». Они были уверены, что через несколько дней она передумает, хотя бы просто со скуки, однако ее, похоже, более чем устраивало сидеть в каюте и читать бесконечные книги из своих сундуков, подчеркивая отдельные предложения и делая пометки на полях. Так что и они тоже вынуждены были оставаться в каюте, где она могла слышать их разговоры.

Кроме того, возникла загвоздка с ее одеждой. Они ожидали, что ей нужно будет помогать одеваться, но София не взяла с собой ни нарядных туалетов, ни прогулочных костюмов, лишь простые шерстяные платья, которые могла застегнуть самостоятельно, даже когда у нее тряслись руки. Поверх она вечно набрасывала на плечи еще несколько шалей, из которых ее хрупкая фигурка выглядывала словно из кокона. А вместо того чтобы убирать волосы в модный узел или высокую прическу, она собственноручно заплетала их в тугую косу, которую затем оборачивала вокруг головы и закрепляла многочисленными шпильками. С этой конструкцией на голове она даже спала, что, по мнению слуг, было по меньшей мере неудобно.

– Она специально лишает нас любой возможности что-то сделать, – прошептал лакей однажды ночью, когда они были уверены, что их подопечная уснула. – Это мы ей прислуживаем или она нам?

– Я тоже в недоумении, – отозвалась горничная. – Ее мать так переживала насчет незнакомых мужчин, что я уж думала, придется нам к стулу ее привязывать.

– Возможно, этот Ахмад поджидает ее в Индии?

– Посмотрим.

В Ливерпуль «Кампания» прибыла под проливным дождем. В поезде до Саутгемптона было сыро и холодно, угольная печка в вагоне постоянно гасла, как ни старался лакей поддерживать в ней огонь. София переносила холод без единого слова жалобы, но явно пребывала в смятении, и чем дальше, тем сильнее ее била дрожь. К тому времени, когда они приехали в Саутгемптон, она была блее мела и едва держалась на ногах. Они сняли номер в первой попавшейся гостинице, уложили ее в кровать, укутали одеялами и обложили бутылками с горячей водой. Мало-помалу дрожь, бившая ее, утихла, на лицо вернулась краска, и она задремала.

– Что ж, – прошептала не утратившая хладнокровия служанка. – Выходит, для чего-то мы все-таки да нужны.

На следующий день они погрузились на пароход «Хиндостан», где София немедленно улеглась в постель и проспала практически до самого Гибралтарского пролива. «Хиндостан» был судном быстроходным, а воды Средиземного моря – спокойными и безмятежными, и вскоре впереди показалась пристань Константинополя, их первая остановка на пути в Калькутту. Там они сошли на берег и поселились в отеле «Пера Палас», царстве роскоши, позолоты и бархатных штор. Там даже была горячая вода! Они уже собирались позвонить портье и заказать ужин в номер, когда мисс Уинстон заявила, что ей нужно сперва кое-куда сходить по одному делу.

Слуги переглянулись.

– Если вам что-то надо, – сказал лакей, – можно отправить посыльного...

– Нет, спасибо, я сама схожу. Но вы можете пойти со мной.

Они не без опаски проводили ее до ближайшего отделения телеграфа, откуда она разослала пространные послания в десяток мест по всей Малой Азии, большая часть которых находилась в такой глуши, что клерку пришлось долго искать их на карте. София поблагодарила его по-турецки и расплатилась местными монетами. То, что они у нее оказались при себе, стало для слуг полной неожиданностью.

– А теперь, – произнесла София, когда они вышли из отделения, – не хотите ли отправиться на экскурсию?

И, не дожидаясь ответа, подозвала извозчика и велела ему отвезти их на другой берег, к Айя-Софии.

– Это как ваше имя, да, мисс? – спросила горничная, с каждой минутой тревожась все больше и больше.

– Ну да, – с полуулыбкой отозвалась девушка. – Только «Айя-София» означает «Божья премудрость», а меня называли всего лишь в честь моей тетушки. Смотрите! – просияла она вдруг. – Вот она!

Впереди показалась древняя базилика. Массивный центральный купол окружали его уменьшенные копии, расположенные вокруг в некотором подобии симметрии, а по углам чуть поодаль высились минареты. Извозчик остановился, мисс Уинстон расплатилась и выбралась из коляски с энергичностью, какой слуги в ней до этого даже не подозревали. Они двинулись вдоль стен базилики; теперь слуги едва поспевали за Софией, которая увлеченно показывала им купол за куполом и башенку за башенкой, называя век, в котором они были построены, и правителя, во владении которого в то время находился город. «Теперь в базилике располагается мечеть, – сообщила она им, – но когда-то это была католическая церковь, а перед тем – греческий православный собор, цитадель, которую захватывали то крестоносцы, то османы». Они оставили обувь перед входом и зашли внутрь, аккуратно обходя колонны и молитвенные коврики и любуясь резьбой и каллиграфией. У основания одной из колонн обнаружилось небольшое углубление; это, сообщила им София, знаменитая Плачущая колонна. Если верить легенде, любой проситель, который вложит руку в это углубление и почувствует слезы Девы Марии, исцелится от всех недугов. С этими словами София протянула было руку к колонне, но потом заколебалась. Некоторое время внутри у нее явно происходила какая-то борьба, потом она все-таки сунула в углубление один палец и так же быстро его вытащила.

– Вот видите? – с улыбкой произнесла она, потом отвернулась.

Они не стали спрашивать, почувствовала она что-нибудь или нет, и испытывать легенду на себе тоже не стали.

Вскоре после этого они вышли и вернулись обратно в отель. Едва успели они переступить порог номера, как явился посыльный с ворохом телеграмм. София вскрывала одну за другой и хмурилась все больше и больше, пока вдруг, просияв, не распрямилась в кресле. Некоторое время она задумчиво постукивала ребром телеграммы о край письменного стола, потом произнесла:

– Нам нужно откровенно поговорить.

Горничная расстилала для Софии постель, лакей чистил ботинки. Оба вскинули на нее глаза.

– Да, мисс? – вопросительным тоном произнесла горничная.

– Я полагаю, – сказала София, – вы служите в первую очередь моей матери, а не мне?

Повисла пауза.

– Я не очень понимаю, что вы имеете в виду, мисс, – произнес наконец лакей.

– Прошу меня простить, но... вы же детективы из агентства Пинкертона, да?

Чета переглянулась. Лакей со вздохом отставил ботинки в сторону; горничная распрямилась, отбросив всю напускную почтительность.

– В отставке, мисс, – отчеканила она с неожиданным металлом в голосе. – Наша фамилия Уильямс. Я Люси, а это Патрик.

София улыбнулась.

– Слишком уж легко моя мать дала на все это свое согласие. Могу я узнать, для чего именно она вас наняла?

– Нам поручено заботиться о вашем комфорте, – отвечал Патрик, – а также следить, чтобы с вами не случилось ничего худого.

– Входит ли сюда перехват моей корреспонденции?

– При необходимости.

– И вам уже случалось это делать?

– Пока нет, мисс.

– Тогда вот, держите.

Она протянула им телеграмму.

Они вместе пробежали ее глазами, озадаченно хмурясь.

– Эфес? – спросил Патрик. – Где это?

– К югу отсюда, не так далеко от побережья, – пояснила София. – Древние греки построили там храм Артемиды, богини охоты. Он считался одним из семи чудес света. Сейчас на его месте идут раскопки, и мне предложили побывать там на экскурсии. – Она откопала в сундуке атлас, нашла нужную страницу и ткнула в нее пальцем. – Вот.

Они принялись разглядывать атлас, не преминув отметить значительное расстояние, отделявшее город от Золотого Рога, а также отсутствие поблизости других городов.

– Я уверен, что в вашем маршруте его не было, – произнес наконец Патрик.

– Вы уже наверняка догадались, что в мои намерения никогда не входило ехать в Индию, – сказала София.

Мужчина кивнул.

– Но что тогда входило в ваши намерения, мисс, раз уж мы с вами решили быть друг с другом откровенными?

Она некоторое время оценивающе смотрела на них, потом сказала:

– Моя мать наверняка рассказала вам массу историй о моем фривольном поведении. Я не стану просить вас повторять их, – добавила она, заметив, что выражение их лиц стало настоящим, – равно как не стану и опровергать. Меня страшило будущее, которое она мне уготовила, и в отчаянии я попыталась найти утешение не там, где следовало. Это решение дорого мне обошлось, и больше подобного не повторится. Теперь я намерена отправиться исследовать Ближний Восток и не собираюсь возвращаться до тех пор, пока... пока не смогу это сделать на своих условиях.

Супруги некоторое время молчали, пытаясь сообразить, что к чему.

– И нет ни одного шанса, что вы передумаете? – уточнил Патрик.

– Ни малейшего. Разве что вы увезете меня обратно силком.

Она вся дрожала – но не от холода, а от страха.

– Этого вы можете не опасаться, – мягко произнесла Люси. – Но и мы тоже не имеем права просто бросить все и вернуться обратно домой. Мы подписали контракт. И потом, мисс, вам нельзя без охраны. Здесь, на Востоке, в одиночестве вы будете легкой добычей для любого бандита и похитителя.

София задумалась.

– А вы не согласились бы сменить роли? Стать моими телохранителями, а не шпионами?

Патрик поджал губы.

– Готов побиться об заклад, что ваша матушка на это не согласится.

София некоторое время обдумывала его слова, затем кивнула.

– Мы напишем не ей, а моему отцу.

Сидя у себя в библиотеке, Фрэнсис Уинстон три раза перечитал телеграмму, потом потер глаза и с раздражением выдохнул. «Пинкертоны»! Чем вообще думала Джулия, нанимая эту парочку на работу? Ну разумеется, София немедленно их раскусила. Он убрал телеграмму и попросил лакея подать ему пальто и трость. Нет, экипаж не понадобится – он просто хочет пройти пешком.

Он двинулся в северном направлении, мимо соседских особняков, пока наконец по Ист-драйв не вышел к Центральному парку. Последние самые стойкие листья дрожали на ветру, цепляясь за ветви деревьев, в то время как их опавшие собратья с шуршанием гонялись друг за другом по земле. Фрэнсис в мрачной задумчивости бродил по дорожкам. Недавний обед

напоминал о себе кислой отрыжкой. В последнее время его вообще частенько мучило несварение – следствие, если верить его доктору, чересчур обильного питания. «Не все, что приносит с собой достаток, естественно для человеческого организма», – сказал тот. Фрэнсис тогда посмеялся над его словами.

К тому моменту, когда он пересек Трансверс и очутился перед высоким остроконечным четырехгранником Иглы Клеопатры, возвышавшимся среди деревьев, Фрэнсис уже успел слегка запыхаться. Он выбрал скамейку и опустился на нее, пристроив трость меж колен. Это было место, куда он приходил, когда его одолевал гнев и нужно было обуздать его, укротить и подчинить воле и разуму. Фрэнсис провел здесь бесчисленные часы, глядя на высеченные на камне древние иероглифы и представляя себе, сколько труда, сколько пота и усилий ушло на то, чтобы создать Иглу. Когда ее доставили из Египта в Нью-Йорк, он изгрыз себе локти от зависти к Вандербильту, глядя из окна своей спальни поверх толп на то, как обелиск едет по Пятой авеню по специально проложенным по такому случаю рельсам – ни дать ни взять плененная царица, каменная Зенобия, которую в золотых цепях везут по улицам. А что с ней теперь! Выщербленная и крошащаяся, с полустертыми уже иероглифами, она стала жертвой пагубного влияния морского климата, который мало-помалу уничтожал то, что на протяжении многих столетий сохранялось неизменным в сухой и жаркой пустыне. Воля могущественных людей создала ее, воля могущественных людей обрекла на гибель.

Фрэнсис начинал подмерзать; он чувствовал себя старым сентиментальным дураком. Над ним равнодушно высилась Игла – стрела, нацеленная в холодное нью-йоркское небо. На ум ему пришла строфа из Гомера: «Песня моя – к златострельной и любящей шум Артемиде, деве достойной, оленей гоняющей, стрелолюбивой»¹. Наконец он грузно поднялся и зашагал обратно в сторону дома, где распорядился, чтобы лакей подготовил его личную спальню, поскольку – признался он слуге, – после того как он переговорит с миссис Уинстон, та едва ли благосклонно отнесется к мысли разделить с ним свою.

СОФИИ УИНСТОН, ОТЕЛЬ «ПЕРА ПАЛАС», КОНСТАНТИНОПОЛЬ
СОГЛАСЕН ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТЕ И МАРШРУТЕ. ДЕНЬГИ ВЫШЛЮ ПЕРЕВОДОМ. УДАЧИ ПОИСКАХ.
ФРЭНСИС УИНСТОН

3

– Мистер Ахмад вернулся! Мистер Ахмад вернулся! – возбужденно перешептывались на улицах Маленькой Сирии ребятишки, на время оторвавшись от игры в пятнашки и классики.

И это действительно было так, ибо из лавки жестянщика на всю улицу разносился звонкий стук молота по наковальне: дзынь-дзынь, дзынь-дзынь – звенел молот, совсем не так, как в руках мистера Арбели, медленнее и увереннее, точно сердцебиение великана.

Ребятня обожала мистера Ахмада. В их глазах его окутывал флер некоторой загадочности, поскольку он был бедуином из пустыни – ну или, во всяком случае, так он им говорил, – а не христианином по рождению и крещению, как их отцы. Ребятишки обожали выдумывать о нем всяческие небылицы, утверждая, что он обладает магическими способностями и может свистом призывать к себе птиц и месяцами обходиться без еды и воды. Когда эти небылицы доходили до его ушей, он не подтверждал и не отрицал их – лишь вскидывал бровь и прижимал палец к губам.

Среди взрослых обитателей Маленькой Сирии возвращение Ахмада тоже не осталось незамеченным, дав пищу для многочисленных толков. Может, он ездил за невестой? Или за

¹ Гомер, гимн «К Артемиде». Перевод В. Вересаева. (Здесь и далее примеч. перев.)

престарелой матерью, которая наконец согласилась перебраться в Америку? Но ни невесты, ни матери пока что никто не видал. Не спешил он и открывать двери лавки для посетителей, равно как и показываться в одном из многочисленных кафе на Вашингтон-стрит, чтобы поделиться свежими новостями и рассказами из дома. Люди были разочарованы, но не удивлены; Ахмад всегда оберегал свою частную жизнь с едва ли не оскорбительной одержимостью. Участвия в общественной жизни, которая в основном крутилась вокруг разнообразных церквей, он практически не принимал, равно как не примыкал ни к одной из сторон в регулярных спорах между маронитами и православными, чем, казалось, даже несколько кичился. И вообще за ним укрепилась репутация человека заносчивого, хотя и несколько смягчавшаяся его связью с мистером Арбели – тот, конечно, и сам был нелюдим не без странностей, но держал себя куда как дружелюбнее и потому считался кем-то вроде чудаковатого любимого дядюшки.

Но даже те, кто с наибольшим недоверием относился к человеку, которого прозвали Бедуином, вынуждены были признать, что его талант пошел во благо всей округе. Прежде лавка Арбели поставляла кастрюли, сковородки и мелкий скобяной товар – все это было добротное, но абсолютно ничем не примечательное. Теперь же каждый предмет, сходявший с наковальни, был подлинным произведением искусства. Кастрюли и сковородки приобрели изящные пропорции, а ручки их украсились затейливыми узорами; таганки, на которых они покоились, походили на чугунное кружево, ажурное, но прочное. В числе творений Ахмада были и ожерелья из серебра и драгоценных камней, а также изумительный подвесной потолок из листового металла, выполненный в виде пустынного пейзажа и теперь занимавший свое место в вестибюле одного из многоквартирных домов неподалеку. Этот потолок долгое время не сходил с уст окрестных жителей, и о нем даже упомянули несколько городских англоязычных газет, что, в свою очередь, привлекло в Маленькую Сирию много посетителей нового рода: хорошо одетых состоятельных любителей искусства.

– Они приходят, несколько минут таращатся на потолок, задрав головы, а потом уходят, – сказал один из завсегдатаев кофейни Фаддулов, главной достопримечательности Вашингтон-стрит. – Ребятишки повадились кланчить у них мелочь. Думаю, никакого вреда это никому не принесет. Да и лавке жестянщика только на пользу.

– Я бы не был так уж в этом уверен, – фыркнул в ответ второй. – Мне доводилось видеть не одно предприятие, которое погубил успех. У Арбели, у того всегда была голова на плечах, но этот Бедуин... не знаю я. Какой-то он...

– Непонятный, – подхватил его собеседник.

– Это кто непонятный? – послышался женский голос.

Это была Мариам Фаддул, хозяйка, которая вплыла в зал с медным кофейником в руках. Во всей Маленькой Сирии едва ли нашелся бы человек, который не был бы с Мариам в дружеских отношениях. Эта женщина славилась своим великодушием и добрым сердцем вкупе со способностью видеть лучшее даже в самых неуживчивых из своих соседей. Даже те, кто был с ней едва знаком, испытывали практически неодолимое желание излить перед нею душу, поделиться своими страхами и горестями, своими самыми неразрешимыми проблемами. Все это Мариам бережно хранила и потом в подходящий момент извлекала из памяти, с филигранной точностью подбирая лекарство к недугу, надобность к надобности. Девушка, жениху которой нужна была работа, могла бы ничего не узнать о том, что мяснику требуется новый подручный, если бы Мариам не посоветовала ей заказать у мясника *киббех* для свадебного угощения. А другая девушка, чьи младшие братья донимали ее с утра до вечера, не давая ни минуты покоя, даже не подозревала о существовании некой пожилой дамы, которая была бы рада, если бы ее одиночество хотя бы несколько часов в день скрашивала спокойная компаньонка, но и этим двоим удалось найти друг друга только после того, как Мариам усадила отца девушки за один столик с сыном пожилой дамы. Вот и теперь она ловким движением подлила обоим собеседникам кофе и ободряюще улыбнулась.

– О, мы говорим всего лишь о Бедуине, – сказали они ей. – Вы знаете, что он вернулся?

– Правда? – спросила Мариам.

– Да, и по-прежнему один, как когда только появился. Ни матери, ни жены, ни новых работников. Интересно, зачем он вообще туда ездил?

Мариам склонила голову набок, словно задумалась над ответом. На самом деле она прекрасно знала, зачем Ахмад предпринял эту поездку. Медный кувшин, ныне покоившийся в земле, когда-то красовался на полке в ее собственной кухне: это был подарок ее матери, которая, в свою очередь, получила его от своей матери, а та – от своей, и так из поколения в поколение, от одной ничего не подозревавшей о его подлинном содержимом женщины к другой. Мариам отнесла кувшин своему другу, Бутросу Арбели, чтобы тот выправил вмятины и зашлифовал царапины, – и его незримый узник наконец обрел свободу.

– Наверное, он просто заскучал по дому, – произнесла она вслух.

Мужчины, удивленно вскинув брови, переглянулись. *Заскучал по дому?* Разумеется, всех их время от времени одолевала тоска по дому, но чтобы исключительно ради этого ехать туда через полмира?

– Ну, – протянул один из них, – может, оно, конечно, и так.

– У бедуинов всё наособицу, – заметил второй.

Мариам одарила их улыбкой и упорхнула к соседнему столику. Но ее муж, Саид, хлопотавший в кухонном чаду, не преминул отметить, как напряглась ее спина, и задался вопросом, что бы это значило, ибо из всех их многочисленных соседей в Маленькой Сирии Джинн был единственным, к кому его жена с первого взгляда прониклась недоверием.

Голем и Джинн снова и снова возвращались в Центральный парк.

Они гуляли по различным его частям, любуясь их осенним убранством: заиндевелой травой на лужайке, бурными жухлыми стеблями камышей на пруду, кристально-чистой водой в стремительном ручье. Потом, нагулявшись, они доходили пешком до 14-й улицы и по пожарным лестницам забирались на крыши. Там, в вышине над городом, скрытый от глаз прохожих, жил собственной жизнью отдельный мир, мир пожарных бочек и перекинутых между крышами дощатых мостиков, мир озорных детей и мелких воришек. Голем и Джинн были здесь частыми гостями и все равно неизменно притягивали к себе все взгляды: высокий мужчина без шляпы и рослая статная женщина. Странная парочка, пусть и одна из многих.

Так, по крышам, они добирались до Маленькой Сирии и устраивались где-нибудь на высоком углу или на платформе водонапорной башни. Оттуда они наблюдали за тем, как начинает потихоньку разгораться новый день: отчаливают от пирсов на Вест-стрит лодки ловцов устриц, спешат начать работу молочники и мороженщики, выметают за порог сослужившие свою службу опилки владельцы питейных заведений. И лишь когда огромный город готов уже был пробудиться по-настоящему, они все так же по крышам домов возвращались обратно к Кэнал-стрит, где прощались друг с другом, и она, спустившись вниз, смешивалась с растущим людским потоком на тротуарах и спешила в пекарню Радзинов, чтобы замесить утреннее тесто, а он возвращался в лавку жестянщика и раздувал горн, пока позевывающий Арбели просматривал готовые заказы.

Вели они себя в общем и целом осмотрительно, так что до сих пор им удавалось не давать никому пищи для слухов. Квартирная хозяйка Голема была не из тех, кто бдительно следит за каждым шагом своих жильцов; ее постояльцы принадлежали в основном к театральной богеме и потому приходили и уходили в самое неурочное время. Что же до Джинна, если его соседям и случалось видеть, как он возвращается домой под утро невесть откуда, то они предпочитали закрывать на это глаза, коль скоро он обстрипывал свои делишки на стороне.

А вот от ребятишек Маленькой Сирии не укрывалось ничего.

Они просыпались по ночам, разбуженные родительским храпом или ерзаньем кого-нибудь из братьев и сестер, и, выглянув в окно, замечали эту парочку на какой-нибудь из соседних крыш или, завернувшись в одеяло, выходили на пожарную лестницу, где до них долетали отголоски спора на немыслимой смеси языков – эти двое так стремительно переходили с арабского на английский, а с английского на идиш, что слушателям оставалось лишь улавливать разрозненные обрывки фраз, невнятные риторические выплески. «Да, они это делают из самых лучших побуждений, но... Это их непонятное упорство в вопросе... Ты даешь им слишком мало...» Кто, ломали головы ребятишки, были эти загадочные «они», фигурировавшие в разговорах этих двоих? И кто была *она*, эта рослая женщина в плаще, способная так разговорить их обычно молчаливого мистера Ахмада? Они смотрели и слушали, а потом утром по пути в школу обсуждали увиденное и услышанное с товарищами и строили догадки относительно того, куда эта парочка ходила каждую ночь, причем варианты высказывались в диапазоне от самых прозаических до самых непристойных.

«Они ходят в Центральный парк», – утверждал один парнишка, который имел обыкновение с утра пораньше обходить крыши окрестных домов в поисках недокуренных сигарет и затерявшихся стеклянных шариков и потому чаще других натывался на эту парочку.

Его товарищи недоверчиво хмурились, слушая эти заявления, высказанные с таким видом, как будто это было что-то само собой разумеющееся. «Откуда ты знаешь?»

Мальчик пожимал плечами. «Потому что, когда они возвращаются, – говорил он, – обувь у них вся в грязи».

* * *

Наконец ударили первые настоящие зимние морозы, и Центральный парк превратился в царство снега и холода. Вьющиеся розы сняли с подпорок и укрыли лапником; вязы на эспланаде тянулись к небу корявыми голыми пальцами.

– Прости, – сказала Голем однажды ночью, когда они дошли до озера Гарлем-Меер. – Теперь нам придется долго идти назад. Да еще и снег начинается.

– Не нужно обо мне беспокоиться, – сказал Джинн. – И прекрати извиняться.

– Я не могу. Мне кажется, что я подвергаю тебя риску.

– Ты же не просишь меня прыгнуть в реку, Хава. Небольшой снежок ничего мне не делает.

Она вздохнула.

– Просто... *он* стал громче. Ну или кажется громче. Это сложно объяснить.

Она с несчастным видом обхватила плечи руками. С наступлением зимы ее глиняное тело стало негибким и неуклюжим; эффект этот был вполне ожидаемым, с ним можно было справиться, если регулярно ходить пешком. Но теперь, подобно артритным суставам, которые болели в сырую погоду, крик в ее мозгу – крик ее плененного создателя, охваченного нескончаемым гневом, – стал более пронзительным и не давал ей покоя. Она начала допускать промахи в пекарне: то забывала добавить в тесто для хал изюм, то бухала в печенье вдвое больше пекарского порошка, так что каждое становилось размером едва ли не с корж для торта. Тея Радзин списывала это на ее вдовство; обнаружив очередную оплошность своей любимой работницы, она с жалостью косилась на нее, думая про себя: «И у кого повернется язык обвинить бедную девочку, если она расклеилась?»

– Как тебе кажется, я расклеилась? – внезапно спросила у Джинна Голем.

– Что-что мне кажется?

– Что я расклеилась. Так считает Тея, хотя, разумеется, вслух она ничего такого не говорит. И нет, она не понимает – но ты-то понимаешь. Так что скажи мне правду. Пожалуйста.

Джинн досадливо фыркнул.

– Хава, ничего ты не расклеилась, не знаю уж, что это значит. Ты всегда тяжело переживаешь зиму, мы с самого начала это знали. А теперь еще и это. Ты держишься намного лучше, чем держался бы я, если бы у меня в голове круглыми сутками звучали вопли этого человека.

– Ты так это говоришь, как будто он осыпает меня бранью, – пробормотала она. – Все несколько проще. Это как... как звон в ушах, наверное. Просто в последнее время он стал громче.

– Но здесь тебе лучше?

Голем обвела взглядом темный парк и, как всегда, ощутила каким-то глубинным чувством землю под ногами. Там, под землей, укрытое зимними снегами, дремало, ожидая своего часа, тепло. На смену зиме обязательно придет весна, напомнила она себе; ее тело стяхнет оцепенение и тревогу, и в ее душе вновь воцарится покой.

– Да, – отозвалась она. – Здесь мне лучше.

Весна пришла в свой черед. Зарядили дожди, на время вынужденно положив конец их свиданиям и долгим прогулкам: теперь по ночам она шила у себя в комнате, а он работал в мастерской. Без него она не находила себе места. Ее взгляд постоянно притягивали парочки за окном, спешившие по своим делам под зонтами. Они беззаботно смеялись, предвкушая, что произойдет, когда они вернутся в свои теплые квартиры и лягут в постели. Он тоже стал нервным и рассеянным, его переполняли смутные желания, но он не знал, будут ли они встречены с радостью. Это он-то, который когда-то так уверенно вышагивал по Пятой авеню в поисках особняка Софии Уинстон! А Голем тем временем снова и снова прокручивала в памяти все их разговоры на тему верности, и его слова звучали у нее в ушах точно приговор: *Ох уж эти люди со своими дурацкими правилами.*

Но вместе с тем ей вспоминался и еще один эпизод, который произошел незадолго до того, как начались разлучившие их дожди. В ту ночь они проходили мимо синагоги в Нижнем Ист-Сайде, когда из двери в подвальном этаже показались две женщины; достаточно было одного взгляда на них, чтобы понять: это мать и дочь. Влажные волосы дочери каскадом крутых завитков ниспадали на спину; она дрожала на холодном ночном воздухе, взволнованная и предвкушающая. Ее бледное лицо, казалось, светится изнутри. Старшая женщина ободряюще обняла ее, и они торопливо зашагали по улице. Мать что-то нашептывала дочери, та кивала в ответ.

– Не поздновато ли сейчас для ванны? – заметил Джинн, когда женщины скрылись из виду.

– Это миква, купальня для ритуальных омовений, – сказала Хава. И, видя его замешательство, пояснила: по еврейским законам женщина не может делить ложе с мужем во время менструации. По ее окончании она окунается в микву и читает молитву. И невестам тоже полагается делать это накануне брачной церемонии.

– А-а. Так, значит, младшая женщина?..

– Завтра утром она выходит замуж.

Она ждала, что он назовет это нелепостью, или суеверием, или еще как-нибудь. Но Джинн лишь рассеянно кивнул, как будто все это время слушал ее лишь краем уха. Лицо его было абсолютно непроницаемо.

«Возможно, – подумала она, глядя на дождь за окном. – Возможно».

Наконец дождь закончился.

В ту же ночь он появился под окнами ее пансиона в их обычный час, и они молча зашагали на север. Тишина, казалось, потрескивала от напряжения. Джинн ощущал еле уловимое облако мельчайшей водяной пыли, которое всегда окружало Голема – словно кто-то перышком легонько касался его кожи. А она задавалась вопросом: неужели от него рядом с ней всегда

исходило ощущение такого *жара*, как сейчас, когда он шагнул на расстоянии вытянутой руки от нее?

Они вошли в парк и двинулись по аллее, лишь изредка обмениваясь парой ничего не значащих фраз. «Я никогда раньше не замечала здесь этой тропинки». – «Смотри, берег размыло». Они шли вдоль ручья до тех пор, пока его русло не стало более широким, а течение не замедлилось. Джинн спрашивал себя, почему, кажется, впервые за все несколько сотен лет его жизни он не в состоянии просто сказать вслух о том, чего ему хочется.

– Я думал, после таких дождей уровень воды будет выше, – произнес он вместо этого, кляня себя за нерешительность.

– Там акведук, – пояснила она, – так что дожди не влияют на уровень воды.

– А, – отозвался он растерянно. – А я думал, это настоящий ручей и что это парк разбили вокруг него.

Голем улыбнулась.

– Ну разумеется, он настоящий, – сказала она и, прежде чем он успел возразить: «Ты же знаешь, что я имею в виду», добавила: – Вот, смотри.

Она расстегнула плащ и сбросила его с плеч. Джинн открыл было рот, чтобы спросить, что она делает, но тут же утратил дар речи от удивления, когда за плащом последовали блузка с юбкой, а за ними и туфли с чулками. Голем ни разу даже не взглянула в его сторону, лишь спокойно избавилась от одежды, а затем подошла к берегу, вошла в ручей и скрылась под водой.

Джинн остался стоять на берегу в одиночестве. Ошеломленный, он долго смотрел на кучку одежды, лежавшую на земле, точно пытался удостовериться, что все это ему не привиделось, потом из-под воды показалась ее голова. Она вышла на берег и приблизилась к нему. С кожи ее ручейками стекала вода. Она не улыбалась, но глаза ее горели странным огнем. В них читался вызов – и ожидание.

Он протянул руку и пальцем провел по ее щеке; от его прикосновения капельки воды исчезали, превращаясь в пар.

– Чего ты от меня хочешь, Хава? – спросил он негромко.

– Чтобы ты дал мне обещание, что я буду у тебя единственной, – отвечала она.

Он вдруг понял, что ждал этих слов; но больше всего его удивило то, как рад он был их услышать.

– А ты дашь мне такое же обещание?

– Да, – прошептала она.

– Тогда ты будешь у меня единственной, – сказал он.

– А ты – у меня, – отозвалась она.

С этими словами они улыбнулись друг другу, робко и нерешительно, словно не до конца веря в то, что только что сделали. Потом он взял ее за руки – они были ледяными на ощупь – и привлек к себе.

Несколько часов спустя сирийский мальчик, который любил вставать спозаранку, забравшись на крышу, практиковался в стрельбе из рогатки. Он успел уложить половину шеренги картонных солдатиков, когда заметил ту самую парочку, идущую в его направлении. Он оторвался от своего занятия, чтобы посмотреть на них, пытаясь сообразить, почему сегодня утром они кажутся ему какими-то не такими, как обычно. Потом наконец понял: они не спорили. Наоборот, казалось, они испытывают в присутствии друг друга какую-то робость. Парнишка поспешно сделал вид, что всецело поглощен своими солдатиками, но, когда они проходили мимо него, вскинул глаза и увидел, что к плащу женщины там и сям пристали травинки и прутики, как будто его использовали в качестве подстилки на влажной земле.

Глаза мальчика расширились: он в очередной раз сделал верный вывод.

Женщина вдруг остановилась и, обернувшись, посмотрела на мальчика со смесью смущения и недовольства во взгляде. Потом что-то прошептала своему спутнику; тот прыснул в ответ, и она шикнула на него. Когда они уже были у самой пожарной лестницы, прямо перед тем, как начать спускаться, мужчина неожиданно обернулся и заговорщицки подмигнул мальчику.

* * *

Весна плавно перетекла в лето – и в июле 1901 года на город кувалдой обрушилась жара. На улицах замертво падали лошади. Кареты скорой помощи переезжали от дома к дому, собирая жатву пострадавших от теплового удара. Городские парки превратились в импровизированные дортуары: все пытались найти место, где было бы достаточно прохладно, чтобы поспать.

В душной подвальной комнатенке неподалеку от Бауэри-стрит молоденькая прачка по имени Анна Блумберг безуспешно пыталась успокоить своего маленького сына Тоби. У нее не было ни цента, чтобы купить льда, хотя бы кусочек, и плач Тоби становился все слабее и слабее. Совершенно парализованная страхом, Анна совсем уже было решила отправиться на поиски управляющего, который весьма недвусмысленно дал ей понять как чего бы ей хотелось от нее получить, так и того, что он готов за это заплатить, когда в дверь неожиданно постучали.

На пороге стоял торговец льдом, и с огромной прозрачной глыбы у него на плече стекали капли воды.

– У вас холодильный ящик есть? – спросил он вместо приветствия.

Она лишь ошеломленно смотрела на него.

– Послушайте, – произнес он, теряя терпение, – одна дама дала мне пять долларов за то, чтобы я пришел сюда. Вам лед нужен или нет?

Льда оказалось столько, что он целиком заполнил не только холодильный ящик, но и лохань для стирки. Завернутый в прохладные пеленки, Тоби успокоился и наконец взял грудь.

– Рослая такая девушка, на Элдридж-стрит, – ответил разносчик, когда Анна, всхлипывая от облегчения, спросила у него, кто же заплатил за это чудо. – Имени она не назвала.

Но Анна знала, кто это был. Она знала это еще до того, как спросила.

В дневное время Маленькая Сирия напоминала больницу под открытым небом. Мужчины подремывали под навесами и под козырьками на крылечках, дюйм за дюймом перемещаясь вслед за тенью. Ребятишки обоих полов с молчаливого согласия матерей на время отбросили благопристойность и носились по улицам в нижнем белье. Заведение Фаддулов вместо кофе предлагало сельтерскую воду – Саид отпускал ее по центу за стакан, в то время как Мариам переходила от одного многоквартирного дома к другому, справляясь о тех, кому приходилось тяжелее всего: малышах, больных и стариках. Вдохновленные ее примером, те, у кого имелись излишки льда, принялись обносить им тех, у кого его не было; делились друг с другом также и едой, которая в противном случае грозила испортиться. Закончив с обходом, Мариам зашагала по улице, намереваясь перехватить повозку торговца льдом по пути на склад на Кортланд-стрит. Возможно, ей удастся убедить возницу поехать на юг...

– Осторожно! – крикнул ей один из мужчин с крыльца поблизости.

Мариам остановилась, вздрогнув от неожиданности. Мужчина указал на распахнутую дверь лавки «АРБЕЛИ И АХМАД. РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ», мимо которой она собиралась пройти. И только теперь Мариам ощутила волну убийственного жара, которая изливалась из недр лавки на тротуар перед ней.

Мариам, поморщившись, опасливо заглянула внутрь. Арбели нигде поблизости видно не было: судя по всему, он предпочел покинуть свой пост, нежели упасть в обморок, – зато перед

наковальней, зажав раскаленную добела металлическую заготовку щипцами и мерно ударяя по ней молотом, священнодействовал его партнер. Даже сам воздух вокруг него шипел от жара, но он, казалось, от души наслаждался этим.

Мариам поежилась, несмотря на жару. У нее возникло чувство, что она совершает что-то непристойное, наблюдая за ним так пристально, пусть и через открытую дверь. Ей не раз доводилось слышать, как ребяташки перешептываются, обсуждая их с его подругой прогулки по крышам. «Кто она такая? – Не знаю. Кажется, ее зовут Хава». Сама Мариам в эти разговоры никогда не вступала, хотя могла бы рассказать им об этой рослой молчаливой женщине, тоже обладавшей пугающими способностями, едва ли не всё. От роли хранительницы секретов этой парочки ей было не по себе. Иногда она мельком видела его где-нибудь на улице, и сердце ее на мгновение ледяным обручем сжимал безымянный страх – как будто он затевал какую-нибудь ужасную каверзу, а не вопреки очевидности просто шел куда-то по своим делам. Привыкнет ли она когда-нибудь к его присутствию среди них? И хочет ли привыкать?

– Ох уж эти бедуины, – с ноткой ворчливого восхищения в голосе хмыкнул мужчина на крылечке. – Всегда носят пустыню у себя внутри.

Мариам нахмурилась.

– Мог бы хоть дверь закрыть, – буркнула она и двинулась дальше.

Под вечер наконец разразилась долгожданная гроза, давно томившаяся где-то там в котле на небесной кухне. При первом же порыве свежего ветерка, раздувшего безжизненно повисшие на флагштоках флаги, Бэттери-парк огласился радостными возгласами. Все собрали свои подушки и покрывала и разошлись по домам.

Анна Блумберг, в чью квартиру медленно возвращалась прохлада, сидела в продавленном кресле-качалке с мирно посапывающим младенцем на руках.

Хава Леви. Это была она, больше некому. Никто другой не вспомнил бы про Анну в такой момент – и уж точно не стал бы тратить половину недельного заработка на глыбу льда. Ей представилось, как Хава стоит под окнами в толпе истекающих потом бродяг, вслушиваясь в плач Тоби и панические мысли Анны. Та самая Хава Леви, с которой они вместе работали в пекарне Радзинов до той ужасной ночи, когда Анна узнала всю правду.

Это случилось чуть больше года назад, когда Анна пригласила свою застенчивую новую подругу на танцы, которые устраивали в зале на Брум-стрит. Они договорились встретиться там с Ирвингом, женихом Анны и отцом ее будущего ребенка, но тот явился под ручку с какой-то девицей. Анна устроила ему сцену в переулке перед входом; Ирвинг, который был в стельку пьян, разозлился и ударил ее. Она упала. А потом...

Его тело, впечатанное в кирпичную стену.

Пустые нечеловеческие глаза ее заступницы.

Станный высокий мужчина, которого ее подруга привела с собой, – «Анна, познакомься, это Ахмад», – оттаскивающий Хаву от ее жертвы и *жгутищий* ее голыми руками, чтобы привести в чувство.

Тогда жизнь Анны за несколько секунд полетела в тартарары. Обратно в пекарню Радзинов ее, беременную и незамужнюю, никто бы не взял, да и потом, разве смогла бы она как ни в чем не бывало по-прежнему работать бок о бок с такой женщиной? Эти двое были самыми настоящими чудовищами – и тем не менее ее жизнь оказалась переплетена с их жизнями. Вскоре Анна столкнулась с их врагом, злокозненным стариком по имени Иегуда Шальман, который похитил ее и воспользовался ею как приманкой, чтобы завлечь в ловушку эту парочку. В ее памяти не осталось воспоминаний об этом, лишь смутная картина того, как она, не в состоянии шелохнуться, стоит посреди того самого злополучного танцевального зала на Брум-стрит, залитого полуденным солнцем, а старик, ухмыляясь, держит ее за запястья. Потом, когда все уже было кончено, на нее обрушился леденящий ужас, что он мог каким-то образом навре-

дить ее малышу, но Тоби явился на свет в положенный срок, возвестив о своем появлении громким плачем совершенно здорового младенца.

Иногда она делала попытки убедить себя в том, что все это ей померещилось. Нечеловеческая сила Хавы, обжигающие руки ее друга Ахмада, древний колдун, удерживавший ее на месте одним прикосновением, – все это было порождением ее чересчур живого воображения, романтическим вымыслом, призванным отвлечь ее от убогой реальности, в которой она, обесчещенная и без гроша в кармане, вынуждена была с утра до вечера гнуть спину над лоханью с бельем, чтобы прокормить своего ребенка. Она не может позволить себе верить в подобные фантазии. Больше не может.

Вот только...

Она взглянула на невозможную, немыслимую гору льда, медленно тающего в лохани, потом на малыша, мирно посапывающего у нее на руках. На своего прекрасного мальчика, живого и здорового.

Внезапно вскинувшись во сне, Тоби проснулся и тут же залился пронзительным плачем. Анна заворковала над ним, убаюкивая, пока он не задремал у нее под грудью, потом осторожно переложила в кроватку. Затем отыскала ручку и лист бумаги и написала:

Дорогая Хава,

спасибо за лед. Я думаю, что он спас Тоби жизнь. Я знаю, что мы с тобой в последнее время не разговаривали, но, возможно, пора это изменить.

Веки малыша Тоби, лежавшего в кроватке рядом с ней, дрогнули, и он вновь погрузился в прерванный сон.

Станный это был сон, особенно для такого малыша. В нем Тоби – уже не младенец, а совсем взрослый, – охваченный непреодолимым оцепенением, стоял посреди залитого солнцем огромного зала, а ухмыляющийся старик железной хваткой сжимал его запястья. Этот сон преследовал его все время, пока он рос, повторяясь снова и снова и превратившись в самое старое его воспоминание, самый глубинный страх. Пройдут годы, прежде чем Тоби сможет заставить себя произнести вслух слова, способные описать его, но его мать мгновенно узнала бы и этот зал, и этого старика.

Передаваемая из уст в уста, от племени к племени, от одного юного джинна к другому история о скованном железом джинне продолжала путешествовать по Сирийской пустыне.

Обрастая все новыми и новыми подробностями и изменяясь по пути, она продвигалась на север, пока не достигла ушей огромного племени джиннов, которые силой и способностями очень напоминали своих собратьев, обитавших в той самой долине, где эта история началась. Они тоже могли жестом вызывать ветер и принимать облик любого живого существа, а в своем бестелесном и бесформенном обличье проникать в сознание спящих и бродить внутри их сновидений. Владения этого племени простирались широкой полосой, к которой непроходимыми препятствиями примыкали земли людей: город Хомс на западе и оазис Пальмира на востоке.

Когда-то давно Хомс не имел для джиннов никакого значения. Им не нужна была его территория, прилегавшая к смертоносной реке Оронт, равно как не тревожили их и его обитатели, занятые земледелием на плодородных прибрежных почвах и время от времени воевавшие между собой. Но с появлением железной дороги все переменялось.

Началось все с двойной полосы железных лент, которая пролегла с севера на юг, повторяя контуры границ пустыни. Затем появились паровозы – оглушительно громкие чудовища из стали и пара, которые передвигались по этим железным лентам быстрее, чем джинны могли летать. Вскоре воздух огласили чудовищные взрывы: люди принялись пробивать тоннели в древних горах. Даже само небо превратилось в лабиринт, ибо меж скал повисли железнодорожные мосты, а вдоль путей выросли телеграфные столбы, между которыми протянулись провода.

Теперь, когда урожаи стало можно перевозить поездами, хомские крестьяне потихоньку повели наступление на исконные земли джинов, распахивая их под пшеницу и хлопок. Надежная и привычная каменистая почва стала предательски влажной. Джинам, обитавшим на восточной границе пустыни, волей-неволей пришлось перебираться во внутренние районы, вследствие чего конкурирующие кланы вынуждены были потесниться. Это способствовало как возобновлению давних междоусобиц, так и возникновению новых – и вскоре в результате их мелких стычек уже даже в самом сердце пустыни в воздухе постоянно висели тучи пыли и песка.

Но как бы ни осложняла жизнь джинам бурная деятельность обитателей Хомса, все это не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило в Пальмире.

Город-оазис Пальмира на протяжении тысячелетий фигурировал в преданиях как джинов, так и людей. В стародавние времена, гласили легенды, молодой царь по имени Сулейман явился в крохотную деревушку под сенью пальм на пыльном перекрестке дорог и заявил: «Это будет часть моего царства». Он сровнял с землей кирпичные хижины и приказал возвести на их месте строения из сверкающего камня – силами сонма джинов, обращенных в рабство Сулеймановой магией. Это джины добывали камни в каменоломнях и доставляли их на стройку при помощи могущественных ветров, джины прочесывали пустыню в поисках редких металлов, чтобы расплавить их и покрыть ими камни. Племена людей поклонялись Сулейману и передавали из уст в уста сказания о его великих деяниях и еще более великой мудрости, но в историях джинов он был презренным тираном, объектом ужаса и ненависти.

Но даже Сулейман был смертен, и, когда он умер, черный морок его царствования сгинул вместе с ним. Столетия спустя Пальмиру завоевали римляне, превратив ее в многоязычную торговую столицу, город храмов, амфитеатров и величественных колоннад. Но и их владычеству пришел конец, а вместе с ним пришел конец и процветанию Пальмиры: теперь основные торговые пути пролегали в стороне, и влиятельный некогда город вновь превратился в скромный оазис. В конце концов права на него заявили местные бедуинские племена, и теперь в тени разрушающихся храмов были разбиты их шатры, а среди колонн мирно паслись стада овец.

Но у джинов хорошая память, и те из них, что обитали в окрестностях Пальмиры, старались держаться от нее подальше, как люди стараются держаться подальше от зловонной скотобойни. Они именовали Пальмиру Городом Сулеймана или просто Проклятым городом, и умудренные опытом старшие пугали молодежь: *Будь осторожен, юноша, а не то будешь изгнан в Город Сулеймана, и его дух, обитающий в тамошних камнях, подчинит тебя своей воле! Или: Если будешь плохо себя вести, я сброшу тебя в самый глубокий и темный колодец в Проклятом городе, а потом до краев наполню его разъяренными фуриями!* Ни одна подобная угроза никогда не была исполнена, но молодежь все равно побаивалась.

Среди бесчисленного количества джинов была одна молоденькая джиния лет пяти-десяти, которая на первый взгляд ничем не отличалась от своих соплеменников. Детство ее прошло самым обыкновенным образом: она училась летать на крыльях ветра, сражалась в тренировочных битвах со своими товарками и товарищами и слушала рассказы об отважных джинах и коварных людях, истории, известные как всему ее роду, так и только ее племени. Она слушала рассказы о недавних сражениях на западных границах их земель и о хомских крестьянах, которые были тому причиной, и любопытство ее разгоралось все сильнее и сильнее, пока в конце концов она не решила взглянуть на все это собственными глазами.

Полетим со мной, предложила она молодому джину, одному из своих всегдашних товарищей по играм.

А куда?

Посмотреть на людей.

И они вместе полетели на запад. Внизу под ними проносились земли джинов, хранившие следы битв: до гладкости вытупленные ветрами пески, растрескавшиеся и осыпающиеся

горы. Наконец впереди показалась ферма, где на темной от влаги земле зеленели всходы озимой пшеницы. Даже сам воздух был напитан водой; казалось, он покалывает их, точно предупреждение перед бурей.

Этим полям не видно конца, произнес молодой джинн изумленно.

Смотри, сказала джинния.

Между рядами колосьев шел человек. В одной руке он держал изогнутое металлическое лезвие, прикрепленное к деревянной рукоятке. Время от времени он останавливался то там, то сям, чтобы проверить землю, потом выбрал несколько стебельков, осторожно скосил их лезвием и принялся внимательно изучать срезы.

Джинния указала на лезвие.

Это железо?

Не приближайся, предупредил ее спутник.

Но она принялась пробираться вперед, и он за ней следом, пока они не оказались прямо над человеком, так близко, что могли бы до него дотронуться. Легкий ветерок всколыхнул пшеницу, и по макушкам колосков пробежала дрожь.

Человек резко крутанулся, вспоров серпом воздух, и его острое просвистело в считанных дюймах от них. Спутник джиннии, охваченный инстинктивным нерассуждающим страхом за свою жизнь, развернулся и пустился наутек.

Джинния же ничего не почувствовала.

Крестьянин опасливо оглядел всходы, держа серп наготове. Потом, видимо, пришел к выводу, что это был какой-то зверь или птица, а не притаившиеся в засаде бандиты. Положив серп на землю, он двинулся вдоль ряда к дереву, под которым лежал бурдюк с водой, чтобы напиться.

Джинния внимательно наблюдала за тем, как он идет, потом перевела взгляд на серп. *Что произошло? Почему она не почувствовала страха?* Она подобралась ближе, еще ближе, но страха по-прежнему не было. Тогда она приняла человеческий облик и, подняв серп за деревянную рукоять, стала его рассматривать. Плоское лезвие там и сям было тронут ржавчиной. На острое зеленел пшеничный сок. Джинния собрала с духом и дотронулась до него кончиком пальца.

Ничего. Ни ужаса, ни ледящей и жгучей боли – лишь сточенный металл.

Послышался негромкий вскрик, и джинния вскинула голову. Крестьянин закончил пить и стоял под деревом, во все глаза глядя на девушку, которая из ниоткуда появилась посреди пшеничных колосьев. Обнаженная и прекрасная, она держала в руках его серп.

Мгновение они смотрели друг на друга, разинув рты. Потом девушка исчезла, а серп упал на землю.

Когда джинния нагнала своего товарища, он все еще дрожал.

Я хотел быть храбрым, сказал он прерывающимся от стыда голосом. *Я думал, что сумею превозмочь страх*. Он взглянул на нее. *Ты его потрогала?*

Нет, отозвалась она. *Давай вернемся домой*.

Она никому не рассказала о том, что произошло. Страх перед железом испытывали все джинны до единого, от самых ничтожных до самых великих; он отличал их от людей и составлял самую суть того, что делало их джиннами. Не чувствовать страха, безнаказанно прикасаться к металлу было делом небывалым, неслыханным. Поэтому с того дня джинния обуздала свое любопытство и оставалась в поселении, где можно было слушать сказителей, чьи рассказы помогали ей на время забыть о своей тайне, которую она хранила от всех глубоко в своем сердце.

А потом однажды до их краев долетела новая молва: история о скованном железом джинне, который заточил своего повелителя в медный кувшин, а потом скрылся в мире людей.

Эта история мгновенно обрела всеобщую популярность. Джинны молодые и старые умоляли рассказывать ее им снова и снова, но внимательнее всех слушала молоденькая джинния. Ее завораживала мысль о том, что эта легенда может быть правдой, что где-то там, среди людей, скрывался джинн, который полагал – отнюдь не без оснований, но все же совершенно ошибочно! – что никогда не сможет вернуться обратно к своим соплеменникам и жить с ними бок о бок.

Это всего лишь легенда, сказка, твердила себе она. Его не существует на самом деле.

И тем не менее она не могла о нем не думать.

4

Текли месяцы, времена года в свой черед сменяли друг друга, завершая круг и опять начиная все заново. А вместе с ними менялся и Нью-Йорк, беспрестанно торжествуя непрекращающееся собственное обновление, нескончаемо переизобретая сам себя.

На улицах там и сям начали мелькать автомобили. Поначалу они были всего лишь игрушками для богатых, диковинным зрелищем, при появлении которого все останавливались поглазеть. Томас Малуф, самый богатый человек в Маленькой Сирии, обзавелся канареечно-желтым двухместным авто с откидным верхом, в котором обожал красоваться перед соседями, хотя, по правде говоря, они куда чаще видели его перед капотом, остервенело накручивающим пусковую рукоятку или обмахивающим своей шляпой перегревшийся двигатель. А потом автомобили вдруг едва ли не за один день заполонили весь город. Теперь они были буквально повсюду: проносились через перекрестки и с визгом выскакивали из-за углов, оглушительно сигналила конным повозкам и пешеходам.

– Пожалуй, я тоже прикупил бы себе автомобиль, – задумчиво произнес как-то Джинн.

– Терпеть весь этот шум и чад только ради того, чтобы стоять в пробках вместе со всеми остальными? – фыркнула Голем.

Наконец-то открыли долгожданную подземку, и они спустились на станцию под зданием городской администрации, где сели в тряский поезд и доехали на нем до 145-й улицы, где Джинн чуть ли не бегом взбежал по лестнице, торопясь выбраться наружу.

– Это было невыносимо, – выдохнул он. – Эта толща земли над нами, давящая всем своим весом.

– А мне понравилось, – призналась Голем.

В обиход вошли телефоны. Джинн, который не мог поверить, что подобная штука возможна без колдовства, был ими просто зачарован. Он уговорил Арбели провести телефонную линию в мастерскую, но тот терпеть не мог кричать в трубку и предпочитал держаться от этого достижения прогресса подальше. Квартирная хозяйка Голема тоже установила аппарат в вестибюле своего пансиона, но Голем никогда им не пользовалась. Был только один человек, которому она могла бы позвонить, но никто бы не поручился, что телефонистка их не подслушает.

По ночам эта парочка продолжала совершать многомильные прогулки. Они отважились пересечь Уильямсбургский мост и добраться до Бруклинских военно-морских верфей, откуда любовались недостроенными кораблями в сухих доках. Любовались они и модными театрами на площади Лонг-Акр, но внутрь никогда не заходили даже ради того, чтобы увидеть последние громкие новинки: Голем опасалась, как бы в такой толпе людей ее не подмял под себя вал их эмоций, вызванных игрой актеров.

– А вдруг я потеряю контроль над собой и выскочу на сцену? – спрашивала она.

– Я тебе не дам, – отвечал он.

Но она лишь качала головой, и они проходили мимо.

На Кони-Айленде они непременно заходили в Луна-парк, где катались на аттракционах. Однажды Голем кормила с руки арахисом дрессированного слона, в то время как Джинн

держался поодаль, опасаясь напугать животное. Слон съел арахис, потом озадаченно обнюхал женщину, которая протягивала ему лакомство на ладони. Вскоре он уже ощупывал ее с ног до головы своим хоботом, пытаясь определить, что она такое.

– Вы ему явно нравитесь, мисс, – заметил дрессировщик.

Голем ласково похлопала животное по серому хоботу и с грустной улыбкой повернулась к Джинну.

– Что такое? – встревожился тот.

– Я думаю, он хочет домой, – сказала она.

Они досконально изучили ночную жизнь всех окрестных районов. Гринвич-Виллидж – смесь ожесточенных споров и смеха, иммигрантов и дилетантов, которые пили шампанское и весело рассуждали об анархии. Риверсайд-авеню, тихая и обращенная внутрь себя с ее дорогими квартирами, заселенными беспробудно спящими умами. Самые криминальные районы: Хеллс-Китчен, Тендерлойн, Сан-Хуан-Хилл – они старались обходить стороной, чтобы не попасть в переплет или в облаву. В те несколько раз, когда они все-таки решились сунуться в район трущоб, их останавливали полицейские, сурово выговаривавшие Джинну за то, что тот привел даму в такое неблагополучное место. Джинн находил во всем этом некий мрачный юмор – в отличие от Голема, которая не видела ровным счетом ничего смешного.

– Они правы, Ахмад, – говорила она. – Не надо бы нам сюда ходить.

Его своенравная натура восставала против этого. На неприятности можно было нарваться где угодно, так какая тогда разница? Но коль скоро Голем была против этих прогулок, он стал ходить в трущобы один – и, разумеется, все обращали внимание на высокого, хорошо одетого мужчину и пытались его облапошить, ограбить или продать ему себя. Однажды ночью какая-то оборванная молодая женщина с младенцем, примотанным к ее груди грязным тряпьем, потянула его за рукав в надежде выклянчить немного денег. Однако, прежде чем он успел как-то отреагировать, от стены отделился плечистый мужчина и отвесил ей крепкую оплеуху. Женщина даже не заплакала, лишь молча отскочила в сторону, держась за щеку.

Перед глазами Джинна мгновенно промелькнуло все то, что он мог бы сделать с этим мужчиной, который бессилен был бы ему сопротивляться. Но потом ему вспомнилась другая ночь и другой переулочек: хруст костей, ломающихся под ударом кулака Голема, и ужас на лице Анны Блумберг. Ничего хорошего из этого не вышло и уж точно не принесло никакого удовлетворения, одно только расстройство и неприятности. Поэтому он сдержался и лишь пригвоздил своего противника тяжелым взглядом. Тот снова слился со стеной, с напускной бравадой пробормотав что-то себе под нос.

После этого Джинн больше туда не возвращался.

Месяцы превращались в годы. Каждая зима становилась испытанием, каждая весна приносила облегчение. Лето было персональным праздником. Долгими теплыми ночами они гуляли по широкой набережной вдоль реки Гарлем, затем, перейдя через реку, углублялись в тихие по ночному времени холмы за мостом Хайбридж. Но самым любимым местом для прогулок по-прежнему оставался для них Центральный парк, куда они снова и снова возвращались для того, чтобы побродить по знакомым дорожкам. Когда же в очередной раз неизбежно возвещала о своем приближении осень, Голем обреченно прощалась с летом и снова собиралась с мужеством, готовясь к приходу зимы.

Джинну с наступлением холодов тоже приходилось нелегко. Нескончаемые дождливые ночи он переживал в своей квартирке или в мастерской, не находя себе места и становясь все более и более угрюмым, так что под конец промозглых осенних месяцев Голему приходилось веселить и взбадривать его. Зимой ограничений у него было меньше, но теперь, когда Голем рассчитывала на его помощь и поддержку, ему приходилось выходить на улицу даже в те ночи, когда он предпочел бы остаться дома, чтобы Голем могла размяться и развеяться.

Она тем временем становилась все более и более раздражительной. В самые худшие ночи она забывалась на полуслове и смотрела перед собой отсутствующим взглядом. Когда он пытался заманить ее в постель, которую сделал собственноручно, на совесть, из кованого железа, с шариками на столбиках, она или отмахивалась от него, раздраженно хмурясь, или с пугающей горячностью соглашалась. Ее тело было лишено собственного тепла, и порой, сжимая ее в объятиях в зимнее время, Джинн с трудом удерживался от того, чтобы не отпрянуть от ее ледящего прикосновения, и наутро неизменно радовался возможности отогреться у горна.

– Как Хава? – спрашивал Арбели в те дни, когда Джинн казался особенно рассеянным, скручивая очередную сигарету и яростно затягиваясь.

– Да как обычно. Переживает из-за всего, что не в ее власти, – отвечал его партнер или же говорил просто: – Ночи считаю до весны.

В летнее же время Джинн нередко являлся в мастерскую в прекрасном расположении духа, улыбаясь или насвистывая себе под нос. Арбели лишь раздраженно вздыхал, не скрывая зависти.

– Нашел бы ты, что ли, себе тоже кого-нибудь, – говорил ему в такие дни Джинн.

И его партнер хмуро бурчал:

– У меня и без того дел по горло, и потом, мне в отличие от тебя нужно когда-то спать.

Голему же в отличие от Джинна не посчастливилось работать среди тех, кому был известен ее секрет. Труднее всего ей приходилось по утрам зимой, до того, как печной жар успевал обогреть ее; она могла проявить неуклюжесть или не расслышать просьбу кого-нибудь из покупателей, а то и впадала в оцепенение, не домесив тесто. Зато летом ей приходилось скрывать свою радость: это было проще, но неизменно сопровождалось ощущением стыда.

– Тея зовет меня на ужин, – кислым тоном сообщила она Джинну однажды зимней ночью, когда они прогуливались по аллее под заснеженными вязами. – Она втайне планирует пригласить какого-то своего соседа, «бедного одинокого Юджина», как она о нем думает. О ее мотивах можешь догадаться сам.

– Ясно, – протянул он мрачным голосом. – Соперник. Прикажешь вызвать его на дуэль?

– Ахмад!

– Если он тебе понравится, сможешь встречаться с ним каждый второй четверг.

Она ответила ему итальянской фразой, которую они слышали в окрестностях Малберри-стрит; она переводилась как «свинья несчастная», образ столь красочный, что они тотчас же добавили его к числу позаимствованных у людей выражений, которые придавали перцу их разговорам. Любимой фразочкой Джинна была «Ну оторви мне теперь голову», услышанная летней ночью от пары, которая ругалась на пожарной лестнице, когда они проходили мимо. Сама фраза и тот жалобный гнев, с которым мужчина выпалил ее – «Господи, Бернис, ну оторви мне теперь голову, если хочешь!» – показались Джинну неописуемо смешными, и он так хохотал, что Голему пришлось схватить его за локоть и утащить прочь, пока разъяренный мужчина не бросился за ними вдогонку. Ее же любимыми идиомами были те, что служили для выражения досады, и ей представлялась масса возможностей использовать их в своей речи.

– Я понимаю, что тебя все это забавляет, – произнесла она, – но мне совсем не до смеха. – Тут ей в голову пришла одна мысль, и она повернулась к нему, охваченная внезапным беспокойством. – Ты же понимаешь, что я рассказала бы им про тебя, если бы могла, да? Просто о нас тут же пошли бы слухи и пересуды, все только об этом говорили бы, и конца-краю этому не было бы...

Он взял ее руку и стиснул пальцы.

– Я все понимаю, Хава. Не переживай. Меня вполне устраивает быть твоим тайным любовником.

Она улыбнулась, слегка успокоившись, но тревога никуда не делась. Действительно ли это его устраивает? Она никогда не была до конца в этом уверена. Неужели все любовники

остаются для своих партнеров загадкой? Или это он кажется ей загадкой в сравнении со всеми остальными, ведь лишь его мысли она не может читать? По правде говоря, ей не то чтобы очень хотелось быть в курсе абсолютно всех его желаний и страхов: она давным-давно пришла к выводу, что в отношениях необходимо сохранять определенную степень закрытости. И все же порой, когда они гуляли по крышам или исхоженным вдоль и поперек аллеям Центрального парка, по его лицу нет-нет да и пробежало выражение мрачной отрешенности, а молчание между ними затягивалось слишком уж надолго; и в такие мгновения она готова была отдать все ради того, чтобы узнать, о чем он думает.

Рядом с ним она иногда чувствовала себя такой юной и неопытной, такой неуверенной в себе. Он успел прожить на свете много веков, но о его прошлой жизни она не знала ровным счетом ничего, лишь скудный набор разрозненных фактов. Уж, наверное, историй, которые он мог бы рассказать ей, хватило бы на добрых несколько сотен ночей – так почему же он никогда ничего не рассказывает? Или, может, боится, что эти истории причинят ей боль? Она знала, что у него были любовницы, что образ жизни, который он вел, люди называли бы аморальным – в этом отношении он, по крайней мере, был с ней предельно откровенен. Возможно, он считал ее слишком неискушенной для того, чтобы посвящать в подробности? И самое ужасное, так ли уж сильно он был не прав?

Джинн покосился на нее.

– Ты что-то примолкла, – произнес он. – Что-то случилось?

Выложить ему все начистоту? Нет, он, по своему обыкновению, или отшутится, или затеет спор, чтобы заговорить ей зубы, а ей сейчас не хотелось ни того ни другого.

– Я просто думала о бедном одиноком Юджине, – отозвалась она в конце концов. – Я бы сказала Тее, что поклялась до конца жизни хранить верность покойному мужу, но это ведь ее только раззадорит.

– А тебе никогда не приходило в голову, – спросил он, – что у бедного одинокого Юджина у самого может быть тайная любовница?

Хава против воли улыбнулась.

– Нет, не приходило! Это было бы просто прекрасно. Но, честное слово, нам с тобой нужно подыскать нашим отношениям определение получше, чем «тайные любовники».

– Ты считаешь, оно нам не подходит?

– А ты?

Она ожидала, что он отделается уклончивым ответом или отпустит насмешливый комментарий, однако Джинн остановился и посмотрел на нее с таким видом, как будто всерьез задумался над этим вопросом. Она молчала, стараясь не стушеваться и не съежиться под его взглядом, но жалея, что не промолчала.

– Ты права, – произнес он наконец. – Оно нам действительно не подходит.

А потом вдруг обхватил ее лицо ладонями и поцеловал – прямо на дорожке. Его поцелуй не был долгим – губы у нее, должно быть, были неприятно холодными, – но, когда он оторвался от них, частица его теплоты на мгновение осталась с ней, прежде чем ее украл порыв зимнего ветра.

Обрадованная, но в то же время и слегка озадаченная, она сказала:

– Ты сегодня какой-то странный. Что-то произошло в мастерской?

Он изобразил напряженную работу мысли.

– Да. Сегодня наконец-то пришла новая партия болванок.

Хава закатила глаза, не в силах тем не менее удержаться от улыбки.

Они вместе пошли дальше по тропинке к дамскому домику на берегу замерзшего пруда, который в зимнее время превращался в каток. На ночь дверь всегда запирали, но Хава все равно подергала за ручку двери. Сегодня тело ее было еще более негибким и неподатливым,

чем обыкновенно, и ноги мучительно ныли. Ей отчаянно хотелось получить передышку от холода, хотя бы на несколько минут.

– Смотри! – сказал Джинн.

В снегу перед дверью лежала пара коньков. Он поднял их за кожаные ремешки и внимательно осмотрел, потом приложил один к ботинку и оценивающе покосился на замерзший пруд.

– Не вздумай, – сказала она.

– Почему?

Он подошел к ближайшей скамейке, уселся на нее и принялся привязывать коньки к ногам.

– Ты сам прекрасно знаешь почему, – раздраженно отозвалась она. – А вдруг ты провалишься под лед?

– Хава, этот пруд замерз еще несколько месяцев назад. И глубины там всего ничего. И потом, если что, ты ведь меня спасешь?

– Ты так в этом уверен? Если лед не выдержит тебя, он и меня тоже не выдержит, и тогда я пойду ко дну и замерзну там насмерть. К тому же ты даже не умеешь кататься. – Она запнулась. – Или умеешь?

– Нет, насколько мне известно. – Он поднялся со скамьи, с трудом удерживая равновесие. – Но, может быть, это как с языками. Возможно, я отлично умею кататься на коньках, просто пока что сам об этом не подозреваю. Надо хотя бы попробовать. – И он на нетвердых ногах неуверенно поковылял к пруду.

Хава двинулась за ним следом, приготовившись наблюдать. В подобных случаях у нее всегда возникало впечатление, что Джинн пользуется ее инстинктивной осторожностью, без нужды щекоча ей нервы, чтобы почувствовать себя отчаянным удалцем. Если бы она могла сказать ему: «Да, иди катайся, я думаю, что это отличная идея», наверное, ему немедленно расхотелось бы это делать. Впрочем, он слишком хорошо ее знал, а она совершенно не умела притворяться.

Хава осталась на берегу и, обхватив себя руками, принялась наблюдать за тем, как он осторожно ступил на лед и неуклюже двинулся вперед, раскинув руки и наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Не будь она так взволнована, то не удержалась бы от смеха: обычно такой грациозный, сейчас он больше всего напоминал пьяного аиста. Все его тело, казалось, превратилось в одни суставы, ни один из которых толком не слушался.

– Кажется, это не совсем как с языками, – крикнула она с берега.

– Похоже на то. Как вообще на них передвигаются, чтобы не...

Ноги у него разъехались в разные стороны, и он с размаху шлепнулся на лед.

Хава поморщилась, хотя очень старалась удержаться.

Джинн между тем с независимым видом поднялся и попытался сообразить, как, стоя на этих тонких лезвиях, сохранять равновесие. Это должно быть несложно; он видел, как это делают ребяташки... Он нахмурился, перенес вес с одной ноги на другую и пытаясь заглушить чувство вины, вдруг всколыхнувшееся откуда-то со дна его души.

«Что-то произошло в мастерской?»

Он в очередной раз задался вопросом, действительно ли его мысли так надежно скрыты от нее, как он полагал. Да, в мастерской действительно кое-что произошло. Он не стал говорить ей об этом, поскольку это была сущая мелочь, незначительный пустяк; только в его глазах это вдруг почему-то приобрело такое преувеличенное значение. Он стоял за верстаком, разглядывая одну из только что доставленных болванок – у него наклеивались кое-какие идеи по поводу серии декоративных товаров из кованого железа – андионов, сетчатых экранов для камина и тому подобных вещей, – когда Арбели, листавший у себя за столом какой-то каталог, спросил:

– Ты не помнишь, сколько у нас еще осталось припоя?

– Так навскидку не скажу, – отозвался Джинн – и замер, преисполнившись острого отвращения к себе самому.

«Ну, оторви мне теперь голову. Она расклеилась. Вот-те раз. Это ты кому-нибудь другому пойдя расскажи». Обмениваться подобными фразочками с Големом – это одно; они проделывали это сознательно, для них это было чем-то вроде игры, совместного развлечения. А сейчас его ответ Арбели был настолько рассеянным, настолько непринужденным, как будто он всю свою жизнь вел разговоры в подобном духе. И кажется, впервые за все время его вдруг оглушило мыслью о том, что он никогда больше не будет ни с кем говорить на своем родном языке.

Ощущение громадности этой потери вызвало у него замешательство. Он ведь теперь даже думал на родном языке редко-редко. Он принял решение до конца дня только на нем и думать, чтобы убедиться, что до сих пор способен воспроизвести в уме слова, которые звучали как ветер и огонь, как звуки первоизданного мира, и лишь тогда осознал, какая огромная часть его жизни не поддается переводу. Газета, гроссбух, автомобиль. Деньги, сигарета, клиент, банк, каталог. Тщетно он пытался подобрать если не эквиваленты, то хотя бы метафоры: все они оказывались либо чересчур расплывчатыми, либо чересчур поэтизированными. Но хуже всего было то, что все выражения, в которых фигурировало железо, были бранными. Профессия, которую он избрал для себя, превращалась в нескончаемый поток сквернословия.

И по мере того, как он перебирал в памяти слова своего неизреченного языка, откуда-то из глубин его сознания всплывали забытые присловья, поговорки старших, детские дразнилки. *Злющий, как мать гуля. Не кради мой ветер. Приветливый, как грозовая туча.* И все они сопровождались мыслью: надо рассказать это Хаве. Но перевести их на язык людей было делом непростым. Каждое слово было многослойным и зависело от времени года и времени дня, от массы самых разнообразных обстоятельств. Он представил, как будет, запинаясь, пытаться объяснить ей смысл, то и дело спохватываясь, что упустил какую-то критически важную мелочь, сию же донести до нее историю, уместяющуюся в каждой из этих фраз. Нет, эта задача ему не по зубам; если из этого что-то и выйдет, то лишь одно расстройство для них обоих. А даже если бы ему и удалось найти нужные слова, что она в них увидит? Словарь прихотей и капризов, алчности и сумасбродства; лексикон, созданный для того, чтобы шастать где вздумается и брать что захочется. Язык, отражающий образ жизни джиннов, который воплощал собой все то, к чему она питала отвращение.

Теперь он вел совершенно иную жизнь. Он соблюдал правила и условности – в той мере, в какой полагал себя на это способным. Он следил за своим языком и обуздывал свои желания, а также старался по возможности не забывать, что все его действия имеют последствия. Он был Ахмадом аль-Хадилом, появившимся на свет в мастерской жестянщика в сердце Манхэттена, – не джином и не человеком, но чем-то средним между одним и другим. Вот с кем она ходила на прогулки. Вот кому она себя обещала.

Ахмад мрачно принялся одну за другой передвигать ноги вперед. Один конек зацепился носком за щербинку во льду; он пошатнулся, резко откинулся корпусом назад, чтобы удержать равновесие, – и полетел навзничь, больно ушибив плечо. Он поднялся, делая вид, что не слышал, как на берегу сдавленно простонала Голем. Он все делал неправильно: пытался продвигаться вперед, как на салазках, в то время как конькам необходимо было сопротивление. Если он выдвинет одну ногу слегка наискось, как бы вдавливая ее в лед...

Он покатился вперед и, проехав расстояние, приблизительно равное длине руки, остановился.

С берега донесся удивленный возглас, негромкий, но воодушевляющий. Ахмад вытолкнул вперед и наискось другую ногу, затем снова первую и покатился прочь от берега, слегка забирая вправо. Потом наклонил корпус влево, нащупал равновесие и затормозил, резко выпрямившись. Он огляделся по сторонам, очень довольный собой, и поехал дальше, вытал-

кивая вперед то одну ногу, то другую, постепенно приноравливаясь к ритму и наращивая скорость, пока не очутился на середине пруда, где свистел ветер.

– Осторожно! – крикнула с берега Голем. – В центре лед тоньше всего!

Раздраженный, он закричал в ответ:

– Да не переживай ты так, Хава, у меня хватит ума спрятаться от дождя! – и медленно остановился, уже во второй раз за день споткнувшись о собственные слова.

На берегу воцарилось молчание.

Ахмад снова размашисто заскользил по льду прочь, кляня себя за опрометчивость. Зачем он копался в закоулках своей памяти, точно в старом шкафу, разворошив воспоминания, вместо того чтобы оставить их в покое? Он принялся кружить на льду, выписывая замысловатые фигуры и чувствуя себя загнанным в угол. Возвращаться на берег было страшно. «Что ты сказал? – спросит она. – Про то, что у тебя хватит ума спрятаться от дождя? Что это значит?» Метафора была очевидной: она означала, что Хава обращается с ним как с маленьким; но ей нужно было услышать это из его собственных уст, чтобы она могла задать еще один вопрос, а за ним еще и еще. Он оглянуться не успеет, как она вынудит его раскрыться перед ней, и виноват в этом будет только он сам. Потому что он только что собственноручно дал ей в руки рычаг...

Слабый голос с берега позвал его по имени.

Ахмад оглянулся. На фоне павильона темнел крохотный силуэт Голема. Между ними раскинулся скованный льдом пруд. Занятый своими мыслями, он доехал почти до другого берега.

– Ахмад! – позвала она снова. Голос ее казался совсем слабым и каким-то чужим. – Я сейчас *превращусь в ледяшку*.

Он поехал обратно так быстро, как только мог. Хава неподвижно стояла на берегу, медленно разжимая и сжимая кулаки, чтобы размять пальцы. На лице у нее искрились кристаллики льда.

Он сорвал с ног коньки и швырнул их в сугроб.

– В домике есть печка, я ломаю замок...

– Нет, – отрезала она сквозь стиснутые зубы. – Давай пойдем обратно, пожалуйста.

Медленно, точно ожившая статуя, она развернулась и двинулась по направлению к дорожке. Он нагнал ее, положил ее негнущуюся руку себе на локоть и накрыл своей ладонью, как будто они были милующейся парочкой. Она бросила на него раздраженный взгляд, но руку не убрала, и к тому моменту, когда они добрались до Вашингтон-сквер, следов изморози на ее лице видно уже не было. Впрочем, от угрызений совести это Джинна не избавило. Перед глазами у него стояла София Уинстон, какой он видел ее в последний раз: бледная и подавленная, дрожащая, несмотря на ворох шалей, в которые куталась. Она ничего ему не объяснила и ни в чем не упрекнула. Во всяком случае, вслух.

– Отвести тебя домой? – спросил он Голема на Гранд-стрит, думая, что на сегодня она должна быть уже сыта по горло его обществом.

– Нет, – ответила она неожиданно для него. – Пожалуйста, пойдем к тебе.

Так что они двинулись дальше на юг, вместо того чтобы свернуть на восток. За все это время они не обменялись ни одним словом, хотя она жалась к нему. Ее рука, лежавшая на его локте, стала немного мягче, податливей. Так, по тротуарам, они дошли до Вашингтон-стрит – сейчас он не рискнул бы тащить ее по крышам, – и вскоре очутились перед его домом. Было три часа утра; в заиндевевших окнах не было ни огонька, в подъезде ни одной живой души.

Он открыл дверь квартиры, завел ее внутрь и принялся отогревать.

– Ахмад?

Она лежала на боку лицом к нему, подложив руку под подушку. Прямоугольный медальон, который она носила на шее, покоился на простыне, рядом с длинной цепочкой. Хава

никогда не снимала его, хотя ему очень хотелось бы этого. Однажды Ахмад раскрыл этот медальон, вытащил хранившийся в нем листок бумаги и был на волосок от того, чтобы произнести вслух слова, призванные уничтожить ее. Ему было неприятно прикасаться к медному прямоугольнику, даже случайно, но он давно уже решил не обращать на это внимания. Если она постоянно живет с неумолкающим криком плененного волшебника в голове, то и он перетерпит уж как-нибудь медальон у нее на шее.

– Можно задать тебе один вопрос? – спросила она.

– Конечно.

Он внутренне напрягся в ожидании.

– Когда ты поцеловал меня тогда в парке, о чем ты думал в тот момент?

Ахмад ошеломленно захлопал глазами. Поцелуй? Он принялся перебирать в памяти события вечера. Они говорили о бедном одиноком Юджине и о том, что у него, возможно, тоже есть тайная любовница... Она возразила против такого определения, сказав, что оно им не подходит...

И тут он неожиданно представил ее с другим мужчиной.

Это не был кто-то конкретный, просто смутный образ с лицом, тонущим во мраке. Зато ее лицо представилось ему совершенно отчетливо, с этим ее особенным выражением затаенного наслаждения, ставшим ему таким знакомым за время их свиданий украдкой в темных комнатах или укромных беседах. Это было живое воплощение выражения «тайная любовница», и неожиданно для него самого оно пронзило его ревнивым гневом.

Это было смешно. Он всегда воспринимал их обещание, данное друг другу, как нечто, ограничивавшее его свободу, но никак не ее, и тем не менее в эту минуту он был рад, что она тоже дала обещание, что в этом смысле она принадлежит ему одному и никому больше. Это шло вразрез как с его природой, так и с его принципами, и тем не менее он был этому рад. Поэтому, не понимая, что еще сделать, он выбросил из головы эту мысль и поцеловал Хаву.

Она между тем терпеливо ждала ответа.

– Я думал, – сказал он, – о том, как мне повезло встретить тебя.

Она обдумала его ответ, потом крепче прижалась к нему. Он сплел свои пальцы с ее пальцами. «Это теперь моя жизнь, – подумал он, сжимая ее в объятиях. – Это мое счастье. Оно меня абсолютно устраивает. Я смогу им довольствоваться».

Так уж вышло, что так страшившей Хаву встрече с бедным одиноким Юджином не суждено было состояться, поскольку место матримониальных планов в мыслях Теи Радзин надежно заняли более грандиозные события.

– Что-что ты хочешь сделать? – переспросила Тея мужа.

– Расширить пекарню, – медленно и отдельно повторил Мо Радзин тоном человека, невыносимо страдающего от необходимости что-то объяснять тугодуму.

На столе стоял шаббатный ужин, и в плошках перед ними был фирменный Теин куриный суп. Дети, Сельма и Аби, уже наученные за годы родительских препирательств, переглянулись, слушая, как Мо объясняет, что владелец обувной лавки, расположенной по соседству с пекарней Радзинов, решил перебраться в другой район.

– Вот я и подумал. Можно же перехватить у него помещение и снести стену. Это в два с лишним раза увеличит наши площади.

Тея ушам своим не поверила.

– Куда нам столько места? Чем тебя не устраивает наша пекарня?

– Чем не устраивает? Да мы уже давным-давно там не помещаемся! По утрам очередь торчит на улицу, и люди уходят к Шиммелям, чтобы не ждать на холоде...

Тея помрачнела.

– А-а, понятно. Тебе Фрэнк Шиммель покоя не дает? Хочешь раз и навсегда утереть ему нос, да?

– Фрэнк тут совершенно ни при чем! Ты сама третьего дня жаловалась на то, что витрина у нас совсем крохотная, ничего в нее не влезает...

– Придержи язык! Нам что, чего-то не хватает? Крыша над головой есть, еда на столе есть, ребятишек двое здоровеньких, да пребудет с ними Божье благословение...

Упомянутые ребятишки торопливо проглотили остатки супа, рассовали по карманам куски халы и скрылись.

– ...и ты готов рискнуть всем, чего мы добились, ради того чтобы стать самой большой лягушкой в луже?

Но Мо не собирался сдаваться. Он открыл пекарню, будучи насмерть перепуганным юнцом с десятью долларами в кармане, и за эти годы она превратилась в идеально отлаженный механизм, работавший как часы. И теперь Мо казалось, что успех подействовал на него отупляюще. Ему хотелось чего-то нового, чего-то такого, что позволило бы ему продемонстрировать – его лучшие годы еще не прошли.

– Нам понадобятся еще три работницы, – сказал он Тее.

– Я даже пальцем не пошевелю, чтобы обучить их, – отрезала она ядовитым тоном. – Я слишком стара и слишком устала для твоих дурацких затей.

– Ну и пожалуйста, – сказал Мо. – Я поручу это Хава.

План этот пришел в голову Мо так внезапно, что в кои-то веки стал для его лучшей работницы полной неожиданностью.

– Ты будешь отвечать за наем и обучение, – сообщил он ей. – Вдобавок к своим обычным обязанностям. У меня будет хлопот полон рот с владельцем дома и с банком. Как думаешь, справишься?

Голем перевела взгляд с него на Тею, которая с чопорным видом восседала за кассой, делая вид, что ничего не слышит. «Бог девочке в помощь, теперь мы в ее руках», – подумала она.

– Да, мистер Радзин, – заверила его Хава. – Я справлюсь.

Впрочем, по правде говоря, она вовсе не испытывала в этом такой уж уверенности. Как вообще люди выбирают новую работницу, не говоря о троих сразу? Она собралась с мужеством, вывесила в витрине объявление – и к ним валом повалили молодые женщины. Все рвались работать, но у каждой были свои причины. Некоторые воображали, что это примерно как печь что-то дома вместе с матерью; другие, как некогда Анна Блумберг, мечтали стоять за прилавком на виду у всего района, теша себя надеждой, что это обеспечит им внимание определенного рода. Многие искали возможности сбежать от обрывдлой семейной жизни или от босса, позволявшего себе распускать руки. Поначалу Голем опасалась, что ее разжалобят истории самых бедных и отчаявшихся и она примет их на работу, невзирая на способности, но вскоре обнаружила, что оказалась перед дилеммой совершенно иного рода.

Интересно, эта миссис Леви всегда такая серьезная? Наверное, работать с ней ужасно скучно...

Наверное, это и есть та самая вдова, выглядит она определенно...

Какая странная женщина. Она как будто нависает надо мной...

Будет ли с ее стороны несправедливым, если она откажет тем, чье мнение о ней оказалось самым неблагоприятным? Она старалась судить других по их делам, а не по мыслям, как учил ее равви Мейер. С другой стороны, едва ли кто-то мог бы упрекнуть ее в том, что она не горит желанием целый день выслушивать чужие нелестные мысли в свой адрес. К огромному ее облегчению, подходящих кандидатур оказалось столько, что она могла позволить себе рос-

кошь выбирать. Она остановилась на трех молодых женщинах, которые производили впечатление способных и энергичных и чьи мысли не задевали ее за живое.

– Поздравляю, – сообщила она им. – С завтрашнего дня вы начинаете.

Мо, занятый переговорами, целыми днями не показывался в пекарне. Три новые подопечные Голема прибыли, и она с гордостью представила их работодателю – однако наградой за все ее усилия было досадливое выражение, промелькнувшее на его лице. Оно почти сразу же исчезло, и все же она успела уловить жалобную мысль: *ну уж если нельзя было найти хоть одну симпатичную мордашку?*

Первой реакцией Голема было изумление – и обида. А потом до нее дошло. Как же она сразу не поняла? Возможно, Мо и не нанимал работниц, руководствуясь исключительно их внешностью, но и он тоже позволял себе роскошь иметь выбор.

– Ты хочешь сказать, что никогда этого не замечала? – недоверчивым тоном спросила ее Анна Блумберг. – Не замечала, что Мо Радзин кого попало к себе в пекарню на работу не берет?

Они вместе прогуливались по дорожке, огибавшей детскую площадку в Сьюард-парке: после того памятного лета, когда Хава прислала ей лед, они стали встречаться там раз в несколько месяцев. Место встречи выбирала Анна; она по-прежнему побаивалась Голема, и в общественном месте встречи давались ей легче. Кроме того, это было возможностью показаться на людях в обществе добропорядочной женщины. Мамаши с колясками смотрели, как они идут рядом, вполголоса обсуждая что-то серьезным тоном, и гадали, о чем вообще могут говорить друг с другом две столь разные женщины. Некоторые высказывали предположения, что овдовевшая миссис Леви в отсутствие собственной семьи взвалила на себя общественную обязанность вернуть незадачливую мисс Блумберг на путь добродетели. Жизнь Анны и впрямь начинала, пусть и потихоньку, налаживаться. Она устроилась на работу в новую прачечную, где ей платили достаточно, чтобы она могла позволить себе снять небольшую квартиру на четвертом этаже, в которой имелись не только открывающиеся окна, но и выход на пожарную лестницу. Кое-кто из ее старых знакомых теперь даже здоровался с ней при встрече на улице.

– Ну, пожалуй, я замечала, что покупатели на нас глазят, но воспринимала это как нечто неизбежное, – отозвалась Голем. – К тому же я была единственным исключением, так ведь? Мо меня не выбирал, он взял меня на работу из уважения к покойному равви Мейеру. Будь у него выбор, он дал бы мне от ворот поворот.

– И наказал бы самого себя, потому что его процветание – целиком и полностью твоя заслуга, – фыркнула Анна. – Да ты сама посуди, – сказала она, видя, что на лице Голема отразилось сомнение. – Где бы он был без тебя? Сколько противней отправляется в печи в среднем за день?

– Тридцать пять, – без заминки отозвалась Голем.

– До твоего появления их было в лучшем случае две дюжины. Та же витрина, те же очереди, только теперь они продают в полтора раза больше выпечки. Разница в тебе. – Она покосилась на спутницу. – Он тебе хотя бы прибавку к жалованью дал за всю ту дополнительную работу, которую ты тащишь на своем горбу?

– Пятьдесят центов в день.

Анна выразила свое мнение о щедрости Мо, снова фыркнув, но тут дорожка повернула, и вниманием молодой женщины всецело завладела маленькая фигурка на детской площадке для мальчиков: темноволосый малыш с ангельским личиком забрался на верхнюю перекладину качели и устроился там, болтая ногами в дюжине футов над не успевшей еще до конца оттаять землей.

– Нет, этот ребенок смерти моей хочет, – пробормотала Анна, и в сознании ее промелькнул пугающий образ: Тоби, проснувшийся рано утром, вырывается из рук матери, охваченный паническим страхом.

– Ох, Анна, – вздохнула Голем. – Опять кошмары?

Анна кивнула.

– Он не хочет говорить со мной о них. Или не может. Это несправедливо, Хава. Он же совсем еще малыш! За что ему все это?

– Возможно, со временем он их перерастет, – произнесла Голем. – Или расскажет о них тебе, когда станет постарше.

– Ты просто говоришь мне то, что я хочу услышать.

– Но это еще не значит, что это неправда.

– Может, значит, а может, и нет, – буркнула Анна, и Голем почувствовала, что та приготовилась переменить тему. – Ты-то сама как? Как переносишь зиму?

– Теперь, когда потеплело, уже лучше.

Она бросила взгляд на деревья, ветви которых были уже окутаны зеленоватой дымкой первых почек.

– А Ахмад?

Голем с трудом удержалась, чтобы не улыбнуться тому нарочито нейтральному тону, которым молодая женщина произнесла его имя; непродолжительное знакомство Анны с Джинном приятным назвать было никак нельзя.

– С переменным успехом. Я думаю, он зиму переносит почти так же тяжело, как я, только не желает признавать этого.

Ей вдруг захотелось рассказать Анне о том, что случилось тогда на катке. После этого фразы «У меня хватит ума спрятаться от дождя» время от времени случайным образом всплывала у нее в памяти как секрет, который не предназначался для ее ушей.

– Но он держит свое слово? – уточнила Анна. – Не нарушает?

Голем бросила на нее вопросительный взгляд.

– Во всяком случае, мне об этом ничего не известно. А почему ты спрашиваешь?

– У тебя такое выражение лица, как будто ты пытаешься в чем-то себя убедить.

– А, это потому, что в последнее время мне кажется, что он несчастен. Не из-за меня, ну или, по крайней мере, я так думаю. Я просто боюсь, что он скучает по своей прошлой жизни и сравнивает то, что у него есть, с тем, что он потерял. Мне хочется, чтобы он был доволен, но я не знаю, что ему нужно.

– Ну разумеется, он сравнивает свою нынешнюю жизнь с прошлой – ему ведь много сотен лет, разве не так?

Она произнесла это небрежным тоном, каким могла бы рассуждать о возрасте кого угодно другого, но от Голема не укрылась промелькнувшая у нее в сознании болезненная мысль: *Подумать только, какая долгая жизнь!*

– Лет двести, я думаю.

– Ну так вот. Для него пять лет – все равно что одно мгновение. Так что погоди немного, прежде чем бросаться все исправлять.

Голем вздохнула.

– Ты права. Но как же сложно не терять терпения! Да, кстати – мне удалось благополучно ускользнуть от попытки Теи свести меня с очередным женихом. Расширение пекарни заставило ее забыть об этом.

Губы Анны скривились.

– Что ж, во всем можно найти положительную сторону.

– Жаль, нельзя отправлять всех ее холостяков напрямую к тебе, – нерешительно произнесла Голем.

– Если бы они позарились на меня, я не захотела бы иметь с ними ничего общего.

– Анна!

– Я всего лишь шучу, Хава.

– Это неправда.

Анна вздохнула, сознаваясь в собственной лжи.

– Ладно, это все равно не имеет никакого значения. Я не могу пойти на такой риск.

Она снова устремила взгляд на Тоби, который уже висел на перекладине качелей вниз головой, улыбаясь до ушей несмотря на то, что лицо его начинало медленно багроветь. Ее мальчик, ее маленький непоседа. Ей так многое хотелось ему дать: добротную одежду не с чужого плеча, вдоволь еды, серебристый швинновский велосипед², который так ему приглянулся. «На таких ездят ребята из „Вестерн Юнион“, мам». И да, чтобы у него был отец, ей тоже хотелось, но больше всего ей хотелось, чтобы прекратились наконец мучившие его по ночам кошмары. Она никогда не простила бы себя, если бы еще больше усложнила ему жизнь, если бы совершила еще одну ошибку, как тогда с Ирвингом, – от одиночества или от потребности быть желанной. Нет уж, она такого не допустит, даже если это будет означать, что ей придется спать одной до конца своих дней.

Голем покосилась на подругу, пораженная ее мыслями. А ведь когда-то Анна была убеждена, что жизнь без любви не стоит того, чтобы жить. Теперь той восемнадцатилетней свистушки больше не было, необходимость выживать на нью-йоркском дне в два счета лишила ее романтических иллюзий – и тем не менее в каком-то трудноуловимом смысле это была все та же Анна. «Жаль, что не все знают тебя так, как знаю я», – хотелось сказать ей, или, может: «Я рада, что мы с тобой снова подруги», – но что-то не давало ей этого сделать. Та ночь в танцевальном зале по-прежнему стояла между ними – вместе с настороженностью Анны и ее собственной большой совестью. Возможно, они никогда не будут близки настолько, чтобы иметь право считаться настоящими подругами, но Голем приняла решение быть той, кто нужен Анне.

– Анна, – произнесла она вслух, – можно я куплю Тоби тот велосипед на день рождения? Можешь сказать ему, что нашла его на распродаже.

Анна в изумлении вскинула на нее глаза, потом сокрушенно покачала головой:

– Нет, в твоем присутствии просто нельзяшний раз ни о чем подумать! Не надо пытаться меня облагодетельствовать, Хава. Льда было вполне достаточно.

– Прошу тебя, Анна. У меня свободнее с деньгами, чем у тебя, и если это его порадует...

– Ладно, ладно, раз уж ты так настаиваешь. Но только, чур, в последний раз. Я не хочу, чтобы он считал, что я могу по щелчку пальцев раздобыть все, что ему приспичит. Так что никаких больше сюрпризов, пожалуйста.

– Никаких сюрпризов, – согласилась Голем, чувствуя себя немного лучше.

– Пойду я уже, пожалуй, а то мне еще ужин готовить, – сказала Анна. – Через месяц?

– Через месяц.

На детской площадке Тоби, висевший на перекладине вверх тормашками, перекувырнулся и захихикал, чувствуя, как щекотно отливает от головы кровь. Потом принялся оглядываться по сторонам в поисках матери, пока не увидел ее на дорожке, в шляпке с выгоревшими матерчатыми розами, рядом с высокой леди, которую он знал как просто миссус Хаву.

Миссус Хава была в жизни маленького Тоби фигурой крайне загадочной. Мама рассказывала ему, что раньше они вместе работали в пекарне Радзинов, но это было само по себе странно, потому что его мама работала в прачечной, а не в пекарне, и все ее немногочисленные подруги тоже, как и она сама, были прачками – женщины с жесткими от крахмала волосами, не способные рассмеяться без того, чтобы тут же не закашляться. К тому же они виделись с миссус Хавой только в Сьюард-парке, где две женщины с серьезным видом ходили кругами вокруг площадки, склонив друг к другу головы, точно два раввина. Если Тоби пытался подслушать,

² *Швинновский велосипед*, «Швинн байкicl компани» – старейшая американская компания по производству велосипедов, основанная в Чикаго в 1895 г.

о чем они говорят, мама неизменно отправляла его побегать и поиграть, и в ее обыкновенно веселом голосе звенела сталь. Точно таким же тоном она разговаривала с ним всякий раз, когда он приходил к ней с вопросами о своем отсутствующем отце. Как его звали? Как он выглядел? «Вырастешь – узнаешь, сынеле. А теперь беги поиграй на улице».

Тоби очень любил свою маму, но в то же время немножко ее побаивался. Его пугали вспышки ее дурного настроения, приступы гнева и грусти, моменты, когда она приходила из прачечной, падала на диван и смотрела перед собой пустыми глазами. Пугала его и боль в ее взгляде, когда ему в ночных кошмарах снилась злобная ухмылка того старика и кошмарное оцепенение и он, проснувшись, в ужас выскакивал из постели, чтобы убедиться, что может двигаться. Она пыталась поймать его, умоляя: «Скажи мне, что с тобой, милый, я не смогу тебе помочь, если ты не скажешь мне, что с тобой!» Но ему почему-то казалось очень важным не рассказывать ей о своем кошмаре; он боялся, что, если он расскажет маме про старика, он явится и за ней тоже. Поэтому Тоби лишь молча выдирался из ее объятий и мчался на крышу, чтобы там носиться кругами до тех пор, пока ужас немного его не отпустит.

Его секрет и секрет его матери, его ночные кошмары и его отсутствующий отец. Ему казалось, что все это каким-то образом связано между собой, что все это грани одной тайны, слишком огромной, чтобы его разум мог постичь ее.

По-прежнему восседая верхом на перекладине качели, он наблюдал за тем, как женщины распрощались и его мать направилась в сторону площадки, а миссус Хава двинулась к выходу из парка. Он проводил ее взглядом – единственную одинокую женщину в море матерей с детьми. Кем бы ни была эта миссус Хава, Тоби было совершенно ясно, что и она тоже часть этой тайны: о чем еще они с его матерью могли разговаривать каждый месяц, если не о том, чего ему знать не полагалось?

Миссус Хава вдруг резко остановилась и обернулась, точно ее окликнули. Их взгляды встретились, и Тоби на мгновение бросило в дрожь.

– Тоби!

Он вздрогнул от неожиданности и опустил глаза. Рядом с качелями стояла его мама, раздраженно сложив руки на груди.

– Тоби, я уже второй раз тебя зову. Пожалуйста, не заставляй меня ждать. Время ужинать.

Он спустился на землю и взял ее за руку, и они вернулись в их темную квартирку. Он не вспоминал про миссус Хаву до самого дня рождения, когда ему в очередной раз приснился кошмар, и он, в панике вскочив со своего тюфячка, едва не налетел на велосипед, который ждал у двери, прислоненный к стене.

Потрясение его было так велико, что он позабыл о своей панике. Протянув руку, он нерешительно погладил его: блестящую металлическую раму, кожаное седло, обрезиненный руль. Велосипед был для него слишком велик, но это не имело никакого значения; Тоби был мальчиком для своего возраста крупным и быстро рос. Велосипед. «Швинн». Настоящий. Его собственный.

Мама, уже одетая, чтобы идти на работу, улыбнулась ему с дивана.

– После ужина, – пообещала она, – мы с тобой спустим его вниз и попробуем прокатиться по переулку.

Тоби не стал спрашивать, откуда взялся велосипед. Несмотря на свой юный возраст, он не поверил бы в историю про то, что мама нашла его на распродаже, или про доброго лавочника, который согласился сделать ей скидку по случаю дня рождения сынишки. Он просто присовокупил велосипед к тайне, решив, что когда-нибудь – когда он вырастет и будет знать достаточно – он поймет, какое отношение все эти вещи имеют друг к другу.

В тот вечер Анна, едва державшаяся на ногах от усталости, брела домой, размышляя о том, что бы такого взять в мясной лавке, чтобы побаловать Тоби в честь дня рождения...

может, обрезки грудинки? Они ей не по карману, но он их так любит... А может, она сделала ошибку, позволив Голему купить ему велосипед? Решит еще, не дай бог, что мать его украла...

Погруженная в свои мысли, она не замечала ни возбужденных воплей, ни виляющую фигурку, от которой они исходили, пока мимо, едва не сбив ее, не пронесся маленький мальчик, балансировавший в седле слишком большого для него велосипеда. Она успела заметить лишь его широкую улыбку, когда он проезжал мимо нее.

– Тоби? – пискнула она слабым голосом, остолбенев от неожиданности.

Но он уже скрылся из виду, распугав пешеходов.

Она не стала бранить его ни за то, что едва не сшиб ее с ног, ни за синяки и ссадины, которыми он успел обзавестись за время этого самовольного урока.

– Я хотел сделать тебе сюрприз, – заявил он за ужином, за обе щеки уплетая грудинку, а потом рассказал, как несколько часов катал велосипед туда-сюда по переулку, как отыскал ящик и воспользовался им, как ступенькой, чтобы забраться в седло. Слушая его, Анна ощущала, как от любви к нему в груди у нее все сжимается в комок.

После ужина они в четыре руки перемыли посуду, а потом Тоби свернулся калачиком на своем тюфячке, напротив велосипеда. Он поставил его так, чтобы, проснувшись утром и открыв глаза, сразу же его увидеть. Анна подоткнула ему одеяло и убрала волосы со лба. Усталый, но счастливый, он уже почти спал. Комок в груди у нее никуда не делся; он был как предупреждение, предчувствие будущего горя, и, подчиняясь какому-то внезапному порыву, она сказала:

– Тоби, если ты когда-нибудь окажешься в беде – в страшной беде, когда это вопрос жизни и смерти, – а меня рядом не будет, найди миссус Хаву.

Тоби сонно улыбнулся:

– Хорошо, мам.

– Посмотри на меня, сынеле.

Мальчик потер глаза и приоткрыл их.

– Миссус Хава живет в пансионе на углу Элдридж- и Хестер-стрит. Повтори.

– Миссус Хава живет в пансионе на углу Элдридж- и Хестер-стрит.

В его голосе прозвучали испуганные нотки, и лишь тогда Анна осознала, как это все должно выглядеть: этот разговор, ее лицо, склоненное над ним в темноте. «Вот и хорошо, – подумалось ей, несмотря на то что сердце у нее болезненно сжалось. – Может быть, он запомнит».

– Я люблю тебя, – прошептала она и, поцеловав сына в лоб, оставила засыпать.

* * *

Промозглым декабрьским днем 1905 года Крейндел Альтшуль с отцом стояли у входа в синагогу на Форсит-стрит, глядя, как мимо них в молчании проходят десятки тысяч евреев, все до единого облаченные в черные траурные одеяния.

Зеваки набились на крыши и гроздьями свисали с пожарных лестниц; женщины рыдали, прижимая к лицу носовые платки, ребятишки цеплялись за материнские юбки. Крейндел, стоявшая на тротуаре, ничего толком не видела, кроме спин людей впереди. В какой-то момент ей показалось, что у нее заложило уши, и она запоздало сообразила, что даже шум строительных работ, которые велись в дальнем конце Форсит-стрит – там строили новый мост через Ист-Ривер, – затих. Изумленная, она оглянулась в сторону реки, туда, где над эллингами высился мачтовый кран, – действительно, бригады клепальщиков исчезли с его балок.

Она украдкой покосилась на отца – заметил или нет? Глаза его были скрыты из виду полями низко надвинутой шляпы, но по щекам тянулись мокрые дорожки, и край бороды мелко трясся. От этого зрелища девочке стало не по себе, и она отвела глаза, вновь устре-

мив взгляд на марширующих с их знаменами, каждое из которых обозначало принадлежность к различным течениям: юнионисты, прогрессисты, сионисты, ортодоксы. Вместе их, пусть и ненадолго, собрала трагическая новость из Российской империи: более тысячи евреев были убиты в городе Одессе, стали жертвами последнего погрома.

Наконец мимо проплыли последние знамена, и толпа начала рассасываться. Мужчины из синагоги сгрудились вокруг ее отца, утирая глаза и вполголоса переговариваясь. «Какое горе, что же теперь делать». Крейндел стояла в дверях, не очень понимая, куда себя деть, пока отцовский взгляд случайно не упал на нее. Вид у него на мгновение стал озадаченный, как будто он совершенно забыл о том, что она тут.

– Иди домой, Крейндел, – произнес он непривычно мягким тоном и скрылся внутри.

Крейндел Альтшуль исполнилось уже восемь лет. Отец наотрез отказывался отдавать ее в школу, несмотря на то что по закону всем детям ее возраста полагалось туда ходить, так что за ней по-прежнему по очереди присматривали все матери из их дома – вот только они вечно забывали, когда чья очередь, поэтому Крейндел нередко оказывалась предоставлена самой себе. Она в одиночестве бродила по коридорам, прислушиваясь к тому, что делается за тонкими стенами, и заглядывая в приоткрытые двери. Время от времени ей удавалось выудить из мусорной корзины в коридоре номер «Тагеблатт» или «Форвертс», и по ним она мало-помалу выучилась читать. Иногда мимо нее проплывали дамы из реформистского общества помощи, высокие, розовощекие и чистенькие, с корзинами, полными молока и яиц, стучась во все двери. Кто-то впускал их, кто-то захлопывал двери у них перед носом.

Почувствовав голод, она пробиравлась в какую-нибудь квартиру и устраивалась за столом вместе с хозяйскими ребятишками. Мать семейства, оторвавшись от плиты, обнаруживала, что Крейндел поедает хлеб со смальцем вместе с ее отпрысками, и задавалась вопросом, сколько времени она уже здесь сидит и что успела услышать. Попрекнуть ее куском хлеба язык ни у кого не поворачивался: все жалели бедную девочку, сироту, лишенную материнского тепла, чей отец, святой человек, дневал и ночевал у себя в синагоге, – и тем не менее в ее присутствии всем было не по себе. Сколько бы Крейндел ни ела, она оставалась худенькой, тихой и внимательно следившей за всем, что происходило вокруг. И всякий раз, когда она задавала очередной неудобный вопрос, порожденный этими молчаливыми наблюдениями: «А почему тот мальчик с первого этажа все время ходит в синяках?» или «А почему миссис Вайнтрауб проводит столько времени в квартире мистера Литвака на втором этаже, хотя они с мистером Вайнтраубом живут на четвертом?» – они в ответ досадливо цедили одно и то же: «Пойди спроси у отца».

Между тем сделать это было несколько более затруднительно, чем им представлялось. Лев Альтшуль в жизни своей дочери если и присутствовал, то по большей части безмолвно. По утрам ей удавалось увидеть разве что его ноги, когда он проходил мимо ее тюфячка, направляясь к себе в синагогу; по вечерам он за ужином задавал ей пару дежурных вопросов: «Ты сегодня хорошо себя вела? Буквы учила?» – и, вполуха выслушав ее ответы, отправлялся в крохотную гостиную читать Талмуд, пока Крейндел мыла посуду и подметала пол. По-настоящему отец с дочерью общались лишь в Шаббат, когда никакие дела не дозволялись и Лев усаживал Крейндел подле себя на диване, набитом конским волосом, и читал ей вслух. Книга была всегда одна и та же: «Цэна у-Рэна», «женская библия» – сборник текстов из Писания с комментариями на идише, составленный для тех, кто в силу малолетнего возраста, принадлежности к женскому полу или какой-либо иной ущербности не умел читать на иврите. Книга эта когда-то принадлежала Малке и была единственной из ее вещей, которую Лев сохранил для дочери. В детстве он часто видел, как мать сажала его сестер к себе на колени и читала им вслух «Цэну у-Рэну»: истории о патриархах и матриархах, о годах рабства и скитаний по пустыне, о законах и их божественных истоках. Отказавшись повторно жениться, Лев лишил

дочь законной шаббатной наставницы и потому, чтобы восполнить эту потерю, взял эту обязанность на себя.

Ни Крейндел, ни Лев не чувствовали себя во время этих шаббатных чтений по-настоящему непринужденно. Для Крейндел находиться так близко к отцу – ощущать исходивший от его кожи запах мыла, видеть волосы на тыльной стороне его рук, когда он переворачивал страницу, – казалось недопустимой фамильярностью, попранием всех законов благопристойности. Для Льва же чтение «Цэны у-Рэны» становилось еженедельным испытанием его терпения. Язык казался ему чрезмерно прозаическим, а скучные наставления вгоняли в тоску, поскольку упор в них делался в основном на рассказах о женском долготерпении и покорности. Но Лев помнил, как его отец, известный своей склонностью ввязываться в споры по любому, даже самому однозначному пункту закона, всегда хранил почтительное молчание, когда мать читала вслух «Цэну у-Рэну». Лев тогда вынес из этого молчания урок, что женское знание отличается от мужского и одно служит фундаментом и подкреплением для другого, ибо без женщин, которые заботятся о земных потребностях, мужчины не смогли бы всецело посвящать себя божественному.

Так что Крейндел узнала историю о сотворении Евы из ребра Адама и прилагающуюся к ней мораль: следовательно, женщина по природе своей сильна, ибо сотворена из кости, в то время как мужчина, сотворенный из земли, слаб и легко рассыпается. Она узнала о скромности Сары и о любви между Рахилью и Иаковом, а также о неосмотрительности Дины, которая привела к тому, что она была обесчещена Шехемом. Она жадно впитывала мешанину из преданий и легенд, которые, как подозревал Лев, были включены в книгу исключительно ради того, чтобы удержать внимание юных: про *шамир*, магическое вещество, при помощи которого царь Соломон резал камни, чтобы сложить из них свой Храм; о гигантской птице Зиз, которая любила стоять так, чтобы ноги ее были в океане, а голова упиралась в небосвод, услаждая своим пением слух Всевышнего. Крейндел хотелось бы получать удовольствие от чтения «Цэны у-Рэны», поскольку это была единственная дозволенная ей книга, но девочка была слишком наблюдательна, чтобы не замечать тщательно сдерживаемое раздражение, с которым отец приступал к чтению, и облегчение, которое он испытывал, откладывая книгу в сторону. У нее не было никаких сомнений в том, что существует другой, куда более качественный источник знаний.

Сидя в одиночестве за столом в своем кабинете при синагоге, равви Альтшуль невидящими глазами смотрел на лежащую перед ним неоконченную проповедь. Он приступил к ее написанию утром, гневно клеймя в ней российского царя и его приспешников, а также всех тех, кто принял участие в погроме. Это были слова бессильного человека, не способного ни на что, кроме как кричать от отчаяния.

«Но ты вовсе не бессилен», – вкрадчиво прозвучал у него в мозгу тихий голос.

Он взял ручку, потом вновь отложил ее, закрыл глаза и увидел проплывающую мимо него колонну флагов, каждый из которых являл собой отражение какой-то идеологии, какой-то мысли. Дать оружие самым уязвимым. Переселиться на Святую Землю. Просвещать рабочих, готовить революцию. Все они были обречены на провал. Зло невозможно искоренить при помощи ущербных планов очарованных чьими-то идеями людей; для этого необходима сила и присутствие Всевышнего. И Лев не мог больше отрицать, что он, и лишь он один, владеет подлинным средством решения этой задачи.

В ту ночь, дождавшись, когда Крейндел крепко уснет, Лев тихо вымылся, потом долго молился и только после этого наконец вытащил из-под кровати старый фанерный чемодан.

5

В пустыне к западу от Проклятого города было теплое весеннее утро.

Компания молодых джиннов резвилась в воздухе, они развлекались тем, что перехватывали друг у друга ветер. Была среди них и молоденькая джинния, которая не боялась железа. Она держалась чуть позади своих товарищей. После того происшествия с серпом она старательно изображала робость и никогда никуда не выбиралась в одиночестве и не улетала вперед: ведь она могла бы, сама не отдавая себе в том отчета, подвести их слишком близко к железу.

Смотрите! – произнес один из них. *Там люди.*

На дороге, ведущей на восток, показались трое путников: мужчина и две женщины, все трое верхом на лошадях. Следом трусил нагруженный выюками ослик. На двоих были головные уборы, призванные защитить их от палящего солнца. Третья, одна из женщин, к удивлению джиннов, ехала с непокрытой головой. Она была моложе двух других, очень бледнокожая, с воробьиного цвета волосами, заплетенными в косу и уложенными вокруг головы в венок, который был там и сям закреплен металлическими штуками, поблескивавшими на солнце. Ее спутники скакали впереди, словно охраняя ее, – и действительно, прямо на глазах у джиннов с севера показалась еще одна группа людей. То были облаченные в черное бедуины – отряд, выехавший на разведку, чтобы решить, грабить путников или не стоит.

Давайте посмотрим, что будет дальше, предложил один из джиннов.

Они полетели в направлении сближающихся групп людей. Джинния по-прежнему осторожно держалась на некотором расстоянии от своих товарищей. Трое путников увидели несущийся на них отряд бедуинов. Мужчина потянулся к ружью, сбоку притороченному к седлу. Светловолосая женщина стянула один из намотанных вокруг шеи темных платков и накинула его на голову. Джинния увидела, что она дрожит, и решила было, что это от страха, но тут женщина крикнула:

– Благословен будь, о шейх!

Предводитель отряда бедуинов натянул поводья, осаживая лошадь, и остальные последовали его примеру. Он улыбался: улыбка эта была скорее изумленной, чем радостной.

– Мисс Уильямс! – воскликнул он. – Я задавался вопросом, увидим ли мы ваше семейство в наших краях этой весной.

– Могу ли я просить вас приютить нас под вашим кровом на эту ночь?

Женщина говорила очень медленно, как будто еще только изучала наречие бедуинов. Напряжение явно покинуло ее спутников; мужчина убрал руку с ружья.

– Вы будете моими почетными гостями, – отвечал шейх, и троица, повернув на север, поскакала следом за бедуинами.

Джинны проводили их взглядами. О том, чтобы последовать за ними, не могло быть и речи: если одинокого путника еще можно было обманом сбить с пути и позабавиться, то целую деревню нет. У них там небось в каждой хижине железные амулеты и шаманы с травами и отпугивающими заклинаниями. И джинны, развернувшись, полетели прочь на поиски иных развлечений.

Джинния же медлила, не спеша лететь следом и глядя, как люди удаляются в направлении севера. Что-то в этой бледнокожей женщине возбудило ее интерес: ее облик, ее дрожь, но также и изумление в голосе шейха, когда он ответил на ее приветствие. Как будто и он тоже находил ее странной, а ее появление – неожиданным.

Джинния развернулась и полетела догонять своих товарищей.

Уже вечерело, когда бедуины и их гости добрались до места назначения – скопления глинобитных хижин, двумя длинными рядами выстроившихся друг напротив друга вдоль един-

ственной улицы. Ребятишки, игравшие в пыли, немедленно побросали свои занятия и, толпой окружив всадников, радостно загомонили. София с улыбкой приветствовала их в ответ. Впрочем, она не могла не отметить, что по сравнению с прошлым годом ребятишек стало меньше. На протяжении многих веков эта деревушка служила местом стоянки караванов на пути в Хомс. Люди и вьючные животные располагались на ночлег прямо между рядами хижин местных жителей, которые, конечно, не могли тягаться элегантностью с роскошными караван-сараями Дамаска или Алеппо с их мраморными фонтанами и пальмами в кадках, но тем не менее обеспечивали защиту от грабителей и непогоды. Однако в последние годы поток караванов практически иссяк, ибо на смену исконным маршрутам пришли железные дороги и морские пути. Деревенские жители начали помаленьку перебираться в Хомс, где можно было найти работу на полях и рынках.

Шейх провел Уильямсов в свою хижину, как и соседские формой напоминавшую пчелиный улей – такая архитектура издревле позволяла сохранять прохладу даже в самый обжигающий летний зной, – и, рассевшись вокруг очага, они стали ждать, когда жена шейха подаст ужин. Хозяин принялся расспрашивать гостей об их странствиях, и они поведали ему, что направляются в Пальмиру с кратким визитом, прежде чем продолжить путь на север, где планируют провести летние месяцы среди сказочных дымоходов Каппадокии. София интересовалась местной политикой: путешествие по территории, населенной разными, нередко враждующими друг с другом племенами, во многом было сродни попытке пересечь шахматную доску, так что имело смысл находиться в курсе текущего положения дел. Шейх рассказал ей о том, какие вожди нынче набирают влияние, а чья звезда уже закатилась. Поведал он ей и о большой, медленно передвигающейся группе европейцев, которые проезжали по этой дороге днем ранее, – пышная процессия из паланкинов, вьючных животных и вооруженных охранников. Шейх пришел к выводу, что это британцы, и приказал своим людям держаться от них подальше: потребуй бедуины с них платы за проезд, это лишь вызвало бы их гнев, а возможно, и гнев правителей Османской Сирии.

– К тому моменту, когда вы доберетесь до Пальмиры, они уже будут там, – сказал он Софии, и от него не укрылось кислое выражение ее лица.

Ему нравилось наблюдать за этой необычной девушкой и ее спутниками – они выдавали себя за ее родителей, но он ни за что в жизни этому не поверил бы, – хотя временами задавался вопросом, что это за троица, которую он принимает под своим кровом.

Он не желал даже слышать о том, чтобы они ночевали под открытым небом, и предоставил в их распоряжение пару пустых хижин. Солнце уже скрылось за холмами, и воздух стремительно остывал. Люси развела в хижине Софии огонь и убедилась, что у нее достаточно одеял, после чего отправилась в соседнюю хижину к Патрику, предоставив молодую женщину самой себе.

Деревня мало-помалу затихала. София еще некоторое время делала записи в своем дневнике, в подробностях описывая события дня и рассказ шейха. За пять лет путешествий в обществе Уильямсов у нее не возникло ни единого повода заподозрить, что они могут читать ее дневники, и тем не менее она не писала в них ничего такого, чего не готова была бы рассказать родителям. Наконец, придя к выводу, что деревня уснула, она облачилась в подбитое овчиной пальто, зажгла фонарь, вышла из хижины и направилась в сторону отхожего места.

Из темноты перед ней возникло лицо ребенка.

София едва не вскрикнула от испуга, хотя это не было для нее неожиданностью. Мальчик сделал ей знак идти следом, и она двинулась за ним в направлении хижины, стоявшей слегка на отшибе от остальных. Внутри сидела перед очагом женщина лет двадцати с небольшим, едва ли старше самой Софии.

София настороженно огляделась по сторонам, но, кроме молодой женщины, в хижине никого не было.

– Мир тебе, Умм Фирас, – произнесла она, неожиданно охваченная дурными предчувствиями.

– Добро пожаловать, мисс Уильямс, – вполголоса отвечала женщина. – Я должна сказать вам, что Умм Салем умерла.

У Софии оборвалось сердце. Она склонила голову, глотая слезы, демонстрировать которые сейчас казалось ей слишком эгоистичным.

– Какое горе, – произнесла она. – Когда это случилось?

– В середине зимы, от инфекции в легких. Под конец она попыталась быстро обучить меня всему, чему смогла. Но ваше лекарство... простите. Времени было слишком мало.

София кивнула. Ей представилась умирающая старая знахарка, пытающаяся на смертном одре принять решение, какие знания передать своей ученице. Разумеется, она выбрала наиболее важные снадобья, те, что давали силы новорожденным и исцеляли сломанные кости, а не порошок, который она раз в год смешивала для чужестранки.

– Я могу дать вам вот это. – Умм Фирас протянула Софии маленький пакетик из вошебной бумаги. – Принимайте его в такой же дозе, как и прошлое. Оно будет не настолько же действенным, но все-таки поможет.

– Спасибо тебе, Умм Фирас.

София взяла пакетик, очень надеясь, что на ее лице отражается благодарность, а не разочарование.

– Как вам спалось, София? – спросила Люси.

Утреннее солнце еще только начинало свое восхождение по небу, а деревня уже осталась позади. Они расплатились с шейхом за гостеприимство зерном и монетами и выдвинулись в путь, едва рассвело. Старшие Уильямсы давным-давно перестали произносить «мисс», обращаясь к своей мнимой дочери, хотя все равно даже без посторонних говорили с ней почти с церемонной вежливостью, как будто для того, чтобы не забывать об истинном положении вещей.

– Неплохо, – отозвалась София небрежным тоном, не желая говорить неправду.

Накануне, вернувшись к себе в хижину, она приняла дозу нового порошка; как Умм Фирас и предупреждала, он оказался гораздо менее действенным, и полночи София пролежала без сна, сотрясаемая дрожью. И как ей теперь быть? Она многие годы тайком наводила справки, прежде чем нашла Умм Салем, а теперь придется все начинать сначала. У нее еще оставался небольшой запас старого, более сильного снадобья; можно попытаться растянуть его, принимая лишь в самые холодные ночи, но через месяц-другой оно все равно неминуемо закончится. В конце концов София решила не думать сейчас об этом, а получать как можно больше удовольствия от визита в Пальмиру.

Они гнали вперед и даже ели на ходу, делая краткие остановки лишь для того, чтобы накормить и напоить лошадей. К полудню солнце нагрело воздух настолько, что София наконец перестала дрожать. Люси с Патриком между тем обливались потом и вынуждены были то и дело прикладываться к бурдюкам с водой. София знала, что оба ее спутника мечтают поскорее добраться до Каппадокии, где солнце будет жарить не так сильно. За эти годы она искренне привязалась к Уильямсам, которые, казалось, готовы были без усталости трястись хоть на лошадях, хоть на верблюдах, хоть в вагончиках канатной дороги на головокружительных горных склонах и питаться любой незнакомой едой, которую перед ними ставили. А Уильямсы, в свою очередь, прониклись доверием к Софии настолько, что время от времени ослабляли бдительность, благодаря чему ей удавалось на часок улизнуть, побродить без сопровождения по местному рынку – *суку* – или в одиночестве посидеть в кафе. Эти краткие мгновения свободы она употребляла на то, чтобы торопливо навести справки у местных знахарок или спросить продавцов специй о редкостных ингредиентах и легендарных целительных снадобьях.

Насколько ей было известно, Уильямсы ни о чем не догадывались, и тем не менее ей не хотелось рисковать их доверием. Даже теперь они обязаны были регулярно отсылать ее родителям в Нью-Йорк отчеты с описанием того, как София себя ведет и по-прежнему ли она избегает общества лиц мужского пола. Для нее, женщины двадцати пяти лет, находиться под надзором, словно какая-нибудь вчерашняя школьница, было унижительно – но финансирование ее путешествий зависело от благоприятного мнения о ней Уильямсов, и София никогда не позволяла себе забывать об этом.

Когда они перевалили через горный гребень и спустились в Долину гробниц на западной окраине Пальмиры, уже вечерело. Вдалеке виднелся частокол из колонн и низких стен – каменные ребра низверженного города. Они ехали вдоль Большой колоннады, мимо величественных колонн и полуразрушенного амфитеатра, и София, по своему обыкновению, пыталась представить, как все это когда-то выглядело: широкие, обрамленные пальмами улицы, торговые ряды, где продавцы предлагали свои товары на десятке языков.

В конце Колоннады возвышалось самое большое из уцелевших зданий Пальмиры, все еще бьющееся сердце города: храм Бэла, в чьих высоких и толстых, похожих на крепостные стенах теперь раскинулась немаленькая деревня бедуинов. Те самые британские туристы, о которых говорил Софии шейх, тоже оказались тут. Они только что прибыли и теперь толпились перед воротами храма – десяток офицеров в армейской форме с женами. Свита их пенджабских слуг неподалеку была занята обустройством бивака: распаковывала провиант и разбивала шелковые шатры, пока многочисленные верблюды щипали сухие былинки и дремали на солнцепеке. Навстречу офицерам вышел облаченный в черные одежды шейх, и они стали показывать дары, которые ему привезли; София разглядела набор ножей с костяными рукоятками и расписной фарфоровый чайник с узором в виде шотландского чертополоха. У одного из офицеров оказалась при себе фотографическая камера, и он принялся уговаривать шейха сняться с подарками, но тут лошадь Софии некстати заржала, и все как по команде обернулись и с изумлением уставились на приближающуюся тройцу: мужчину и женщину в возрасте с притороченными к седлам ружьями и запыленными кожаными бурдюками и бледную молодую женщину в широкой юбке для верховой езды и закутанную в ворох темных платков.

Шейх же при виде этих троих просиял и, бросив делегацию, с приветственными возгласами устремился навстречу всадникам. Все трое спешили, и София с улыбкой ответила на приветствие. Шейх махнул мальчишке, вертевшемуся у ворот храма, и тот, подхватив лошадей под уздцы, повел их на пастбище. Шейх сделал жест в сторону ворот – и, даже не удостоив негодующих британцев взглядами, тройца скрылась в храме.

– Значит, она ничего тебе не сказала? – уточнил Патрик у Люси.

Они лежали бок о бок в своей палатке, которую разбили в углу двора. Палатка Софии стояла чуть поодаль, там, где камни еще хранили дневное тепло. Люси заглянула к ней перед тем, как лечь, и обнаружила свою подопечную крепко спящей.

– Только, что «спала неплохо», что бы это ни значило, – отозвалась Люси. – И ни слова о том, что полночи где-то бродила в темноте, а потом еще хорошенько прорыдалась.

– Я спросил про ту старую знахарку, – сказал Патрик. – Она умерла этой зимой.

– Не могу сказать, что удивлена, – вздохнула Люси. – Ей было никак не меньше восьми-десяти.

На мгновение в палатке повисло молчание. Потом Патрик спросил:

– То снадобье, что старуха давала ей... думаешь, оно действительно помогало?

– Ты хочешь сказать, что все это исключительно у нее в голове?

Патрик с сомнением пожал плечами.

– Я думаю, – произнесла Люси после паузы, – в конечном итоге это не имеет такого уж большого значения. Худо-то ей в любом случае по-настоящему.

Патрик некоторое время обдумывал ее слова.

– И то верно. Да еще мы с тобой тащим ее на лето на север, в Каппадокию.

– А прошлым летом в Анкару, а позапрошлым – в Армению, – пробормотала Люси. – Ей было бы лучше, если бы она осталась здесь, но как бы мы с тобой выполняли свою работу, полумертвые от жары?

– Что ж, возможно, пора нам завязывать с этим делом.

Повисла долгая пауза: оба обдумывали его слова.

– Ты имеешь в виду – уволиться?

В голосе Люси прозвучала слабая надежда.

Патрик улыбнулся.

– Ты тоже об этом подумываешь?

– Ну разумеется, подумываю. Ей двадцать пять, Патрик. Мы с тобой были младше, когда поженились. То, что ее родители заставляют ее делать, противостоит природе, и я начинаю ненавидеть себя за то, что принимаю в этом участие.

Он кивнул.

– И это еще не все. Мы с тобой тоже моложе не становимся. Сколько нам еще осталось? Я не хочу провести остаток дней, питаюсь чем попало на скаку и ночуя на камнях. Денег у нас с тобой на счету в банке достаточно, чтобы никогда больше не работать, и, скажу я тебе, мы это заслужили.

– И что нам делать? Не можем же мы просто бросить ее тут на произвол судьбы. Ей нужен кто-то рядом.

Он на некоторое время задумался.

– Помнишь гида из Хомса? Ну, того, который показывал нам мечети и цитадель? Он еще раньше был драгоманом?

– Абу-Алим, – кивнула Люси. – Он произвел на меня приятное впечатление.

– Ну вот, кто-нибудь в этом роде, наверное.

– А вдруг мы ошибаемся? – мрачным тоном произнесла Люси. – Кто тогда ее защитит?

– Мы научим ее всему, что знаем и умеем сами, – сказал Патрик. – И тогда она сможет сама защитить себя.

Несколько месяцев спустя Уильямсы написали своим нанимателям, что хотят расторгнуть контракт. На их взгляд, писали они, София повзрослела и превратилась в уравновешенную и разумную молодую женщину. Она овладела турецким и арабским языками, могла объясниться на множестве различных диалектов и отлично разбиралась в местной политике. Они едва ли преувеличат, если скажут, что за эти годы она стала одним из самых выдающихся западных экспертов по региону. Они ни разу не видели, чтобы она неподобающим образом вела себя в присутствии какого-либо мужчины, равно как ни разу не замечали нигде поблизости предводителя преступной шайки, о котором предупреждала их ее мать. Что же касается ее личной безопасности, они взяли на себя смелость обучить ее обращаться как с ружьем, так и с пистолетом. Меткость ее из-за дрожащих рук не была идеальной, однако в теплый и безветренный день она могла с тридцати шагов без промаха всадить пулю в жестянку из-под табака.

Фрэнсис Уинстон читал этот отчет с привычной смесью зависти и гордости. Правда заключалась в том, что он страшно скучал по дочери. Ему отчаянно хотелось, чтобы она вернулась домой, чтобы он мог из первых уст услышать ее рассказы о волшебных дымоходах Каппадокии и древних храмах Пальмиры, – но на первый план выступали другие соображения. В отсутствие Софии атмосфера в доме значительно улучшилась. Джулия после длительного периода охлаждения наконец-то позволила мужу вернуться в супружескую спальню. Кроме того, ему предстояло решить некоторое количество щекотливых деловых вопросов. Нужно было ехать в Вашингтон и обхаживать там нужных людей, ни одного из которых нельзя было

назвать интересным и приятным. С возвращением Софии, решил он, придется повременить до более благоприятного момента. А пока что, если Уильямсы подыщут для его дочери, как обещали, заслуживающего доверия местного проводника, Фрэнсис будет удовлетворен.

Джулия, однако, пришла в ужас как при мысли о том, что София будет путешествовать без присмотра – на местного проводника рассчитывать в этом смысле стоило едва ли! – так и оттого, что ее дочь превратилась в какую-то циркачку с Дикого Запада. С другой стороны, никакого действенного способа повлиять на Уильямсов, если они твердо решили расторгнуть контракт, у нее все равно не было. Она, конечно, могла убедить Фрэнсиса лишить Софию финансирования, чтобы вынудить ее вернуться домой, – но что она станет делать с несносной девчонкой? Запрет в комнате и снова будет соревноваться с ней, кто кого переупрямит? Одна мысль об этом наводила на нее невыразимую тоску.

Так что и Джулия тоже согласилась отпустить Уильямсов на покой – но только при одном условии. Если София желает выставять себя на посмешище перед язычниками и дикарями, пусть делает это под вымышленным именем, а репутацию семьи портить не смеет. Имя Уинстонов – вместе со всеми обязанностями и ожиданиями, прилагающимися к нему, – будет ждать ее возвращения на американскую землю.

«Это, наверное, грех», – подумала Крейндел Альтшуль.

Было лето 1906 года, и Крейндел, растянувшись на голом каменном полу женского балкона синагоги на Форсит-стрит, наблюдала за пылинками, танцевавшими в лучах света, лившегося сквозь высокие окна. Пробраться в синагогу оказалось легче легкого: вход для женщин был из переулка, отходившего в сторону от Хестер-стрит, далеко от главного входа, а оттуда по темному коридору до лестницы, ведущей на балкон, было рукой подать. В карманах ее юбки ждали своего часа маленький блокнотик и остро отточенный карандаш. Теперь оставалось только терпеливо ждать, когда придут мальчишки, стараясь не попасться никому на глаза.

Интересно, если это все-таки грех, то какой именно? Синагога-то ее, не чужая, а ее отец в ней раввин. С другой стороны, он уверен, что она сейчас дома, хозяйничает. Если он за ужином спросит у нее, что она делала днем, ей придется соврать – и вот это уж совершенно точно будет грехом. Вот только он давно перестал задавать ей за ужином вообще какие бы то ни было вопросы, лишь произносил вслух положенные благословения и, наскоро поев, запирался у себя в комнате: Крейндел слышала, как со скрипом поворачивается в замочной скважине ключ. Предоставленная самой себе девочка мыла посуду и убирала ее на место, а потом укладывалась на свой тюфячок на полу и смотрела на полоску света, пробивавшегося сквозь щель под его дверью. Иногда до нее доносились какие-то непонятные слова на иврите, но в тех молитвах, которые она знала, они не встречались. Она лежала и слушала, дожидаясь, когда он погасит лампу, но всегда засыпала раньше, чем это происходило.

По субботам, когда они вместе ходили в синагогу, она усаживалась в передней части женского балкона, чтобы лучше его слышать. В последнее время его проповеди стали какими-то более яростными. Он гневно клеймил царя за безнравственность, реформистское движение за вероотступничество, бундовцев³ за безбожие, сионистов за попытку узурпировать роль Всевышнего. «Лишь Он один волен послать нам Мессию и восстановить Иерусалим, а также собрать всех изгнанников Израиля в Святой Земле!» – гремел он, и девочка слушала, зачарованная голосом, который он скрывал от нее всю неделю, и безапелляционностью его слов.

Затем они возвращались в свою квартирку на другой стороне улицы, но теперь Крейндел могла читать «Цэну у-Рэну» самостоятельно, и шаббатный вечер они проводили порознь, молчаливо погруженные каждый в свое занятие. Когда наконец заходило солнце, они зажигали

³ *Бундовцы* – члены еврейской социалистической партии Бунд, всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России.

витуую свечу, потом гасили ее в вине, совершая *Хавдалу*⁴, – и он снова скрывался в своей комнате. Он каждый раз ухитрялся открывать и закрывать дверь в тот момент, когда Крейндел стояла к ней спиной, поэтому ей никогда не удавалось даже краешком глаза увидеть саму комнату.

«Чем ты там занимаешься?» – мог бы спросить любой другой ребенок или даже: «Почему ты со мной больше не разговариваешь?» Но Крейндел не была обычным ребенком, и она знала, что, просто задавая вопросы, тайну разгадать нельзя. Не могла она и подобрать ключ или сломать замок на двери в отцовскую спальню, потому что это было бы предательством. И потом, она хотела не просто увидеть, что ее отец хранит там, за дверью. Она хотела *понять* это. Потому и лежала сейчас на полу женского балкона с колотящимся сердцем в ожидании.

Наконец из святилища внизу донеслось понурое шарканье: дюжина мальчиков заняли свои места в переднем ряду. Потом раздался голос ее отца, бодрый и деловитый:

– Пожалуйста, откройте учебники на четвертом уроке.

Мальчишки ненавидели уроки иврита, все до единого. Необходимость сидеть на жестких неудобных скамейках, продираясь сквозь зубодробительную ивритскую премудрость, в то время как их друзья гоняли мяч по улицам или ошивались на строительной площадке под недоделанным мостом, они воспринимали как незаслуженное наказание. Для Крейндел же слушать тайком, как ее отец спрягает глаголы и исправляет ошибки – и все это с терпеливостью и спокойствием, каких она в нем даже не подозревала, – было новым, неизведанным доселе удовольствием. Она только успевала записывать. «Частица „ло“, предшествующая глаголу, отрицает его действие. „Ло катсар Я’аков етц“ – „Яков не срубил дерево“. Глагол „шамах“ („слышать“) в первом лице единственного числа приобретает суффикс „ти“. „Вайомер эт-колеча шама’ти баган ва’ира“ – „И он сказал: я услышал твой голос в саду и испугался“».

Урок продолжался целый час, пока на балконе не стало так темно, что Крейндел вынуждена была писать, почти уткнувшись носом в блокнот. Наконец мальчиков отпустили, и она осталась одна. Голова у нее шла кругом от всех этих правил, частиц и суффиксов.

Она вернулась на балкон на следующий день и на следующий за следующим тоже, мало-помалу узнавая все больше и больше. Теперь по субботам она слушала шаббатные молитвы с новым вниманием, открывая в них скрытый доселе смысл. По ночам, лежа на своем тюфячке, она вытаскивала из тайника под подушкой заветный блокнотик и повторяла выученное за день, пока ее отец бормотал что-то у себя за запертой дверью – там, в другом мире.

Вскоре она начала замечать, что эти тайные изыскания сказываются на здоровье ее отца. Под глазами у него залегли темные круги, щеки запали. Ужинали они всегда очень скромно, в основном пирожками-*книшами* и соленьями, купленными с лотка у уличных торговцев, но теперь он вообще практически ничего не ел. Однажды утром Крейндел обнаружила среди мусора полоску кожи, в которой узнала кончик отцовского ремня: он обрезал его, чтобы скрыть, как сильно похудел. Встревоженная, она стащила из жестянки с мелочью, которую он держал в кухонном шкафчике, несколько монеток и купила яиц, лапши, селедки и картофеля. Готовить девочка не умела: все ее познания в кулинарии ограничивались тем, что ей случалось подсмотреть на кухнях у соседок, – и тем не менее методом проб и ошибок ей удалось освоить приготовление нескольких простых блюд. Отец был удивлен и даже слегка пристыжен, однако аппетита это ему не прибавило, и по вечерам он по-прежнему запирался у себя в комнате, едва притронувшись к еде.

К началу 1907 года Крейндел овладела ивритом в достаточной степени, чтобы понимать значение каждого слова в субботней службе в синагоге, однако смысл ночного отцовского бормотания по-прежнему от нее ускользал. Иногда она распознавала различные имена Бога, призывы к ангелам или обозначения каких-то частей тела – руки, головы или пальца, – но чаще

⁴ *Хавдала* – в талмудическом иудаизме благословение, произносимое во время вечерней молитвы на исходе субботы, а также специальная церемония «отделения» субботы от будней.

всего его бормотание звучало так, как будто он произносил слова задом наперед или переставлял в них буквы в произвольном порядке. Но это было еще не самое странное. В квартиру начал проникать сильный землистый запах, напоминавший ей что-то знакомое, но что именно это было, она понять никак не могла. Однажды, проснувшись посреди ночи, она увидела в темноте отца. Он стоял перед дверью своей комнаты с тяжелым дерюжным мешком на спине. Рукава и обшлага его брюк были перемазаны чем-то темным, похожим на грязь. Он что-то прошептал, и глаза у нее сами собой закрылись. Наутро воспоминание потускнело и размылось, и Крейндел уже не была уверена, что все это ей не приснилось.

Сменяли друг друга сезоны. Отцу уже с трудом удавалось скрывать от прихожан в синагоге пошатнувшееся здоровье. В одну из суббот, осенью, это проявилось особенно ярко. Он нашел в себе силы произнести свою всегдашнюю проповедь, но после завершающего благословения силы покинули его, и он, бледный и дрожащий, остался стоять на возвышении. Прихожане, по обыкновению обступившие его, похоже, ничего не заметили, но Крейндел, испугавшись, что он сейчас упадет, бегом спустилась с балкона, пробилась сквозь толпу и схватила его за руку со словами:

– Папа, ты обещал сегодня вечером рассказать мне историю.

Он в замешательстве посмотрел на нее, и ей на мгновение показалось, что он не может сообразить, кто она такая. Но потом его взгляд прояснился.

– Разумеется, дитя мое, – с улыбкой произнес он. – Прошу меня простить, господа.

Они вышли из святилища и, перейдя через улицу, двинулись к дому. Крейндел обеими руками крепко сжимала его высохшую, худую руку. К тому моменту, когда они поднялись по лестнице до второго этажа, он уже полувисел на ней, крепко сжимая ее худенькое плечико. Наконец они все-таки добрались до своей квартиры, и он, рухнув на диван, мгновенно уснул мертвым сном.

Его одеяло было заперто в его комнате, и Крейндел укрыла его своим, заботливо подоткнув со всех сторон, хотя оно было слишком коротко для него. Потом уселась за его письменный стол – у нее было ощущение, что она совершает неслыханную дерзость, но на диване спал отец, а больше в комнате сесть было некуда – и принялась без интереса листать «Цэну у-Рэну», время от времени косясь на книжный шкаф, заставленный талмудическими трактатами. В конце концов она отложила «Цэну у-Рэну» в сторону и, собравшись с духом, взяла с полки одну из отцовских книг.

Поначалу чтение показалось ей сродни попытке слушать группу людей, каждый из которых старался перекрыть остальных. Ей встречались слова, которых она не знала, но догадывалась об их значении по общему смыслу. Она принесла лист оберточной бумаги и стала записывать их. Вскоре она уже излагала на бумаге свое понимание основных положений соперничающих школ мысли – на иврите. Она исписала так второй лист, затем третий. У нее было ощущение, что она смотрит сквозь замочную скважину на совершенно иной мир, мир, чью историю можно поведать только на его языке – на языке, который она капля за каплей переняла у своего отца.

Остановилась она, лишь когда в комнате стало слишком темно, чтобы писать. Солнце уже зашло, Шаббат закончился. Обессиленная, но ликующая, она положила голову на стол и уснула.

Когда она проснулась, отец внимательно наблюдал за ней с дивана. В руках он держал ее заметки, а глаза его светились такой нежностью, какой Крейндел никогда в них не видела.

– Боюсь, я не был тебе хорошим отцом, – произнес он хрипло. – Я позволил тебе стать тем, кем стать тебе было не предназначено. Но кажется, Всевышний преподнес мне еще один дар, которого я никогда не ожидал получить.

Он снял с шеи ключ от своей комнаты.

– Идем, – произнес он, открывая дверь.

В комнате было темно и тесно, запах земли был невыносимым. И тут же, словно в голове у нее что-то щелкнуло, Крейндел поняла, почему он казался ей таким знакомым: это был запах строительной площадки под недоделанным мостом, где так любили играть соседские мальчишки.

Чиркнув спичкой, отец зажег лампу, и в комнате наконец-то стало светло.

На кровати лежал человек.

От неожиданности Крейндел отскочила и закричала бы, но отец зажал ей рот рукой.

– Чш-ш, – прошипел он. – Никто не должен знать.

Она кивнула, хотя сердце у нее колотилось как бешеное, и он убрал руку.

Человек, лежавший на кровати, не был целым. У него недоставало одной ноги, начиная от бедра. Рук было две, но кисть всего одна, а сами руки напоминали толстые макароны без мышц и суставов. На лице имелись углубления для глаз, грубый треугольный нос и безгубая линия на месте рта. И тем не менее это совершенно определено был человек: высокий и с широкой грудной клеткой, а его единственная ладонь была в два с лишним раза шире ладошки Крейндел. Девочка на цыпочках, точно опасаясь его разбудить, подошла к кровати, положила руку ему на грудь и ощутила под пальцами прохладную твердость глины.

– Ты знаешь, что это такое? – спросил у нее отец.

– Голем, – выдохнула Крейндел.

* * *

– Тея сегодня спрашивала моего совета по поводу того, какую горжетку ей купить, – сказала Голем.

Стояла зимняя ночь, ясная и морозная. Они шли по Брум-стрит в сторону Челси: Джинн хотел посмотреть на гигантскую стройку на Седьмой авеню – там возводили новый железнодорожный вокзал. Ради этого снесли четыре квартала жилых домов в Тендерлойне, а их обитатели, в большинстве своем чернокожие, вынуждены были искать пристанище в других местах. Голем была до глубины души возмущена такой несправедливостью, а Джинн, хотя и разделял ее чувства, не мог не восхищаться масштабом и амбициозностью проекта. Но спорить ему не хотелось, поэтому он молча слушал ее рассказ о метаниях Теи, которая никак не могла определиться, какую горжетку лучше взять: норковую или горностаевую? Джинн не очень понимал, цвета это или названия животных, но уточнять на всякий случай не стал... Мысли его переключили на здание вокзала, которое, по всей видимости, собирались возводить на стальных каркасах. Джинн был заинтригован возможностями этого метода – куда больше, нежели чугунными фасадами домов на Брум-стрит, мимо которых они шли и которые отливали и охлаждажали в гигантских формах, – эта технология наводила на него смертную скуку. Зачем вкладывать душу в формы, если можно вкладывать ее в само железо? Какой смысл работать с железом, если на самом деле ты с ним не работаешь?

Тут он краем уха выхватил из речи Голема слово «награда» и встрепнулся.

– погоди, – сказал он. – Награда? Какая награда?

– «Человек года», от Ассоциации торговцев Нижнего Ист-Сайда, – терпеливо повторила Голем. – За открытие новых горизонтов в пекарском искусстве. Горжетка Тее нужна для банкетета, который будет после церемонии награждения. Она считает, что ее пальто для этого слишком старомодное, хотя Сельма ей сказала, и я ее поддержала, что...

– Ты хочешь сказать, что этого «Человека года» выиграл *Мо*?

Голем вздохнула. Она попыталась аккуратно вплести выигранную *Мо* награду в разговор, пока Джинн был поглощен своими мыслями, поскольку в противном случае он тут же начал бы возмущаться – ибо правда заключалась в том, что оглушительный успех расширения пекарни был ровно в такой же степени и ее заслугой, а не только одного *Мо*. Да, обновленные печи

повысили выход продукции вдвое, а новенькая сияющая витрина давала покупателям полный и соблазнительный обзор всего имеющегося в наличии ассортимента выпечки, но ключом на пути к успеху стали новые подопечные Голема. Она обучила их всему в рекордные сроки, и за это время они переняли некоторые ее манеры и месили и раскатывали тесто такими четкими и отточенными движениями, что зрелище это было поистине завораживающим. Подметив этот эффект, Голем предложила поставить рабочие столы в ряд в передней части лавки, чтобы все покупатели могли любоваться сноровкой девушек, пока ждут своей очереди. Мо без особых раздумий согласился – ему было совершенно все равно, где будут стоять столы, – и результат оказался столь же ошеломляющим для него, как и для всех остальных. Просто наблюдать за работой девушек само по себе стало развлечением. Прохожие, ни разу в жизни не переступавшие порог пекарни Радзинов, с улицы заглядывались на работниц в витрине и не могли противостоять искушению зайти внутрь. Простой поход в пекарню, некогда бывший делом совершенно скучным и прозаическим, теперь превратился в событие сродни вылазке в театр или на выставку, – и покупатели, придя в приподнятое состояние духа, нередко уносили с собой больше выпечки, чем планировали.

– Хава, эта награда должна была достаться тебе, а не Мо! – сказал Джинн.

– О, это не так, – возразила она немедленно. – Расшириться было идеей Мо, у меня никогда не хватило бы на это смелости. И девушки тоже заслуживают похвалы: они так усердно работают...

– Да, потому что это ты их вымуштровала! Я понимаю, тебе не хочется выпячивать свои заслуги, но, если в час через вашу пекарню проходит больше покупателей и каждый оставляет больше денег...

– Да, я все подсчитала, – перебила она его, раздражаясь.

Но Джинн еще не закончил.

– Возможно, Мо преуспел бы и без тебя, но не до такой степени. Награду эту ему точно не дали бы. Это ты открыла эти их новые горизонты, Хава, а не он.

– Ой, вот только не надо пытаться заставить меня чувствовать себя обделенной. Какая разница, заслужил он эту награду или нет? Меня-то «Человеком года» все равно бы не выбрали.

– Но он хотя бы понимает? Он отдает себе отчет в том, что это все благодаря тебе?

– Он начал подозревать, – пробормотала она, – что у него просто прирожденный талант к таким делам.

– Идиот, – сердито фыркнул Джинн.

– Легко говорить, когда тебе известно то, чего не знает он. Но почему ты сердишься на меня?

– Потому что тебя, кажется, вполне устраивает, что он мнит себя...

Джинн взмахнул рукой, подыскивая нужное слово.

– Царем горы?

– Им самым. И да, наверное, ты не можешь заявиться в эту их ассоциацию и сказать: простите, вы ошибаетесь в отношении мистера Радзина. Но неужели тебе этого не хотелось бы? Неужели тебя это ни капли не возмущает?

Голем покачала головой.

– Чем мое возмущение помогло бы делу?

– Ничем! Но оно было бы искренним, честным и понятным!

– Но я не могу! – В запале она произнесла эти слова громче и резче, чем намеревалась, и они эхом отразились от раскрашенных чугуновых фасадов. Она поморщилась, потом продолжила: – Я не могу хотеть ни чтобы они узнали правду, ни чтобы у меня была возможность продемонстрировать им, на что я способна. Зачем мне, чтобы они каждый день приходили на работу, ненавидя себя за глупость и неумелость? Ну не оценивает меня какой-то мужчина по заслугам – и в этом я ничем не отличаюсь от всех тех женщин, которые стоят в очереди, думая

о собственных нанимателях и о том, как скупы они на похвалы и как склонны присваивать их заслуги.

Джинн покачал головой.

– Это совсем не то же самое, Хава.

Она начинала терять терпение.

– Ты прав. Мне повезло куда больше, чем им. Мне не грозит ни заболеть, ни умереть от голода. Я не живу в страхе перед мужскими побоями. В моей жизни ничего этого нет.

– Да, вместо этого тебе всего-то нужно всю жизнь скрываться.

В его голосе прозвучала горечь.

– Многие из них тоже скрываются, Ахмад.

– Я говорю не о них!

Он выкрикнул это так громко, что ночной сторож, дремавший на табуреточке за окном неподалеку, встрепенулся и выглянул на улицу. Раздосадованная, Голем выставила вперед ладонь: потише, пожалуйста.

– Я говорю о тебе. – Он уже слегка успокоился, но все равно таким рассерженным она его давненько не видела. – Ты и я – мы не такие, как они, Хава. Мы не можем быть у них на побегушках или позволять им... позволять им вытирать о себя ноги, и все это ради того, чтобы никто ничего не заподозрил. Ты слишком легко позволяешь им сбрасывать себя со счетов.

При словах «на побегушках» она окаменела.

– Конечно, тебе-то хорошо говорить.

Его глаза сузились.

– Что ты имеешь в виду?

– А то, что у тебя есть свобода, которой у меня нету. Ты можешь позволить себе запереться в мастерской, не обращать внимания на то, что думают все остальные, и не разговаривать с соседями, если тебе не хочется, и все, что они подумают, это «До чего же необщительный малый этот Ахмад аль-Хаид». А как ты думаешь, что будет, если я начну вести себя таким же образом?

– Они скажут: «До чего же необщительная женщина эта Хава Леви».

Она фыркнула.

– Это будет самое безобидное, что они обо мне подумают. С женщинами все совсем по-другому, Ахмад... нет, ты не спорь, ты меня просто выслушай. Если какой-нибудь мужчина мне улыбнется, я должна улыбнуться в ответ, или я буду мегерой. Если какая-нибудь женщина при мне обмолвится, что у нее выдался ужасный день, я обязана задать вопрос, что случилось, или я буду заносчивой и черствой. Тогда уже я стану объектом их гнева, и это будет влиять на меня, заслуживаю я того или нет. Если бы я вела себя так же, как ведешь себя ты, если бы я настраивала против себя добрую половину всех, кого я знаю, как думаешь, сколько прошло бы времени, прежде чем гвалт в моей голове стал бы невыносимым?

Он нахмурился и отвел взгляд, словно пытаясь представить, каково ему пришлось бы, если бы он слышал невысказанные мнения о себе своих соседей, проходя мимо них по улице. Голем уже в который раз задалась вопросом: заставит ли это его хотя бы на йоту поменять позицию.

– Я не могу позволить себе злить их, – произнесла она тихо. – И ты знаешь это лучше, чем кто-либо другой.

Он шумно выдохнул и яростно потер лицо руками. Потом подошел к ней вплотную и притянул к себе. Она обвила его руками, и несколько долгих минут они стояли молча, сжимая друг друга в объятиях.

– Ты не видел молоток для чеканки? – спросил Джинн у Арбели на следующее утро.

Тот с недовольным видом вскинул глаза от верстака.

– Нет, не видел. И наша лучшая киянка, обтянутая сыромятной кожей, тоже куда-то запропастилась. Наверное, валяются в подсобке, в той бесформенной гряде железа, над которой ты работаешь.

– Я же не виноват, что тут недостаточно места для...

– Если ты хочешь продолжать свои эксперименты, – перебил его Арбели, – будь так добр, найди для этого другое место. Они мешают нам делать работу, которая приносит деньги.

– О да, наша бесконечно интересная работа, которая приносит деньги, – фыркнул Джинн. – Ожерелья, серьги, настольные лампы, накладки для выключателей, все эти набившие оскомину безделушки, которыми торгует Сэм Хуссейни. Я мог бы все это делать хоть в... хоть с закрытыми глазами, – поправился он.

Арбели со вздохом отложил разметочный карандаш.

– Значит, тебе скучно, – сухим тоном произнес он.

– Да, – сложив руки на груди, подтвердил Джинн. – Мне скучно.

– И ни погода, ни твоя ссора с Хавой тут ни при чем.

Джинн бросил на него высокомерный взгляд.

– Я просто спросил, – с обидой в голосе сказал Арбели. – Раньше ведь за тобой такое водилось.

– Знаю, знаю. – Он потер переносицу, потом плюхнулся в рабочее кресло Арбели – скрип пружин заставил того поморщиться – и, свернув самокрутку, понюхал ее. – Вчера ночью мы были в Челси, на стройплощадке, где будет новый вокзал, – произнес он, затягиваясь. – Ты бы это видел. Они проложили целую узкоколейку, чтобы вывозить землю из котлована. Сейчас уже начинают закладывать фундамент, повсюду разложены штабеля балок, я столько стали сразу никогда в жизни не видел... Туннели, проложенные под реками, будут соединяться прямо с вестибюлями, и все это будет пролегать ниже уровня подземки. Это будет что-то.

– А потом ты вернулся сюда, – сказал Арбели, – к настольным лампам и накладкам на выключатели.

Его партнер кивнул, отводя взгляд.

– Их тоже кто-то должен делать, – произнес Арбели мягко. – И потом, мы ведь жестянщики, а не инженерная фирма.

Джинн некоторое время молчал, потом поднялся и скрылся в подсобке. Когда он появился оттуда, в руках у него был короткий железный пруток. Он уселся напротив Арбели и стиснул заготовку в руке. Сначала долгое время ничего не происходило, потом знакомо запахло нагретым металлом – и пруток начал светиться. Джинн перевернул его и зажал горизонтально между ладонями, сплетя пальцы поверх – точно игрок, тасующий колоду. Легкое нажатие – и его руки сложились ковшиком, а заготовка полностью скрылась внутри. Потом он принялся покручивать ее туда-сюда в пальцах, одновременно разводя их в стороны – и железо растянулось между ними, точно рдеющая ириска. Он свел концы вместе, сложил железо пополам, скрутил в жгут, потом растянул его еще раз, и пруток распался на множество длинных и тонких металлических нитей. Арбели на миг вспомнилось, как он, маленький, на кухне наблюдал за тем, как его мать готовит лапшу на ужин. Джинн между тем снова и снова с головокружительной скоростью складывал и скручивал раскаленные железные нити, потом раскрутил их – в ладонях у него что-то полыхнуло...

Джинн быстро наклонился над ведром с водой в торце верстака. В воздух взвился столб пара – а когда он развеялся, на ладони у Джинна лежал полый шар дюймов шести в диаметре, состоявший из десятков тончайших витых железных жгутиков, аккуратно сходящихся в одну точку сверху и снизу на полюсах.

Арбели взял его в руки. От шара исходило ощущение легкости и движения – словно поток воды на мгновение застыл в воздухе.

– Что это? – спросил он.

– Набалдашник для балясин на перилах, – пожал плечами Джинн. – Или для столбиков кровати. Или для каминной решетки. Или детский волчок. А может, верхушка для ворот. Или что угодно еще.

Арбели засмеялся, внезапно почувствовав внутри странную легкость.

– Пора нам расширить наши горизонты, – сказал ему Джинн и, натянув куртку, скрылся за дверью.

На улице уже стемнело, а Арбели все сидел за верстаком в лавке, разглядывая драгоценный шар при свете лампы. В глубине души он ждал, что волшебство рассеется, точно морок, – но шар никуда не девался, все так же приятно и увесисто холодя его ладонь.

«Расширить наши горизонты». Им понадобится больше места. Целый этаж в фабричном здании, если получится. Новое оборудование, кузнечный горн лучшего качества. И что-то вроде тайной комнаты, где Джинн мог бы без посторонних глаз творить свою магию. Они, конечно, могут назвать ее секретом фирмы, но любой владелец помещения тут же начнет что-то подозревать. Нет, лучше уж сразу приобрести помещение в собственность, хотя, конечно, это невозможно. Или все-таки возможно?

Арбели вытащил из ящика стола свой гроссбух и открыл его на цифрах, которые заставили бы всех соседей ахнуть: то был результат долгой и упорной работы, умеренности в привычках и сияющей искры удачи, которая ворвалась в его жизнь, когда он откупорил старинный медный кувшин. У его партнера цифры были примерно такими же – он как-то сунул в них нос и потому знал это. И тем не менее даже их объединенных капиталов все равно не хватило бы, все это были пустые мечты – но даже просто представить это...

В какой-то момент голова его упала на гроссбух; когда он снова открыл глаза, в окна било солнце. Арбели встал, проморгался. В животе у него заурчало. Что он до сих пор делает в лавке?

Взгляд его упал на ажурный шар, и он вспомнил.

Он осторожно убрал шар в ящик и вышел на улицу. Там уже кипела обычная утренняя жизнь, по тротуарам спешили по своим делам соседи. Пожалуй, он заглянет к Фаддулам на чашечку кофе. И перекинется парой слов с Мариам, если та не будет занята.

Едва он переступил порог кофейни, как Мариам подхватила его под руку, точно поджидала у двери.

– Бутрос, – воскликнула она, – вы ведь умеете играть в нарды, да?

И, не успев опомниться, как она уже увлекла его к столу, за которым в одиночестве перед доской для игры в нарды сидел один из местных завсегдатаев. Его обычный соперник сегодня не пришел из-за разболевшегося нектасти зуба. Арбели, которого нельзя было назвать большим любителем нард, проиграл три партии кряду, в то время как его соперник пространно жаловался на своего зятя, ленивого недоумка, который целыми днями курил кальян, а на заработки вместо себя отправлял жену. А теперь ей грозило остаться без работы, потому что она работала на кружевном производстве в Амхерсте – Арбели же слышал про Амхерст? Да, это фабричное здание на углу Вашингтон- и Карлайл-стрит. Ну так вот, октябрьская Паника⁵, похоже, сильно ударила по его владельцу, и теперь он вынужден распродавать свои активы за бесценок. Амхерст, без сомнения, приберет к рукам какой-нибудь бездушный толстосум, который немедленно вздернет арендную плату. Как жаль, сказал он, передвигая фишки по доске, что так мало зданий в Маленькой Сирии принадлежат настоящим сирийцам, это пошло бы очень на пользу местным предприятиям....

Арбели вскинул глаза от доски. Мариам наблюдала за ним из дальнего угла, и на лице у нее играла торжествующая улыбка.

⁵ Паника, Банковская паника, – кратковременный финансовый кризис в США, имевший место в октябре 1907 г.

Весной 1908 года старейшины синагоги на Форсит-стрит собрались на тайную встречу, чтобы обсудить проблемы равви Альтшуля.

Ни один из них не мог точно сказать, когда именно равви начал вести себя странно. Да, он святой человек, так что некоторая мечтательность и погруженность в свои мысли ему простительны, но в последнее время он просто перешел всякие границы. У него появилось обыкновение во время субботней проповеди спускаться с возвышения, так что его не раз возвращал обратно кто-нибудь из его паствы. А на последнем уроке иврита он напугал мальчиков, принявшись с закрытыми глазами декламировать нараспев какие-то непонятные словеса – судя по всему, на арамейском. Но что беспокоило всех больше всего, хотя никто не желал произносить этого вслух, это то, что от равви стало ужасно пахнуть – какой-то замогильной смесью запаха земли и разложения. Никто не понимал, пахнет от его одежды или от него самого.

В квартиру к нему для разговора отрядили делегатов. Они постучали в дверь, но никто не открыл. Один из них наклонился, чтобы заглянуть в замочную скважину, – и тут дверь внезапно распахнулась. На пороге стояла дочка равви, маленькая Крейндел. Ее блузка и юбка были все в земле – равно как и лицо, кончики кос и руки по локоть.

– Проходите, пожалуйста, – произнесла девочка. – Мой отец хочет с вами поговорить.

Пораженные, они опасливо потоптались на пороге, но все же вошли в квартиру. Дверь за ними захлопнулась.

Через некоторое время делегация вернулась в синагогу и заверила остальных, что всё в полном порядке. Равви Альтшуль, по их словам, действительно был нездоров, но теперь шел на поправку благодаря неусыпным заботам дочери. Пока же его ни в коем случае нельзя беспокоить. Все с облегчением вздохнули, радуясь, что все так благополучно разрешилось. После этого члены делегации разошлись по домам и заснули там мертвецким сном, а когда проснулись, не помнили ни о том, что побывали в квартире Альтшуля, ни о том, что там видели.

Теперь равви Альтшуль с Крейндел могли целиком и полностью посвятить себя работе. Крейндел, которая, как обнаружилось, была наделена художественными способностями, взялась переделывать грубые черты голема, а также его руки и ноги, чтобы придать всему этому большее сходство с человеческими. Ее отец припомнил, что, кажется, и Малка тоже проявляла склонность к искусству и любила рисовать вид, открывавшийся из их окна, или миску с зимними апельсинами. Он тогда частенько бранил жену за то, что впустую тратит время на такую ерунду, но теперь про себя благодарил ее за дар, который она передала по наследству их дочери.

Впрочем, способности Крейндел были не безграничны. Уши, которые она сделала для голема, вышли не вполне одинаковыми, а волосы были вылеплены единым куском, который на манер шляпы нахлобучили на макушку. Глаза тоже никак не желали получаться, пока Крейндел не пошла на крышу и не принесла оттуда два заваливавшихся стеклянных шарика: один темно-фиолетовый, второй голубой с белесыми прожилками. Рабби Альтшуль вставил их в пустые глазницы, и они улеглись там так плотно, как будто были специально предназначены для этой цели.

Словом, им пришлось изрядно повозиться, несмотря на то что это был всего лишь эксперимент, пробная попытка вдохнуть в голема жизнь. И тем не менее равви Альтшуль был исполнен решимости сделать его как можно более безопасным. Ему не хотелось, чтобы их соседей постигла участь обитателей средневекового пражского гетто, ставших жертвами голема, который, вообще-то, создавался с целью их защитить. Он намеревался оживить их детище и испытать его способности в действии, внимательно наблюдая за ним на предмет малейших признаков склонности к насилию. А потом, убедившись в успехе, уничтожить голема, после чего взять священные книги и отправиться вместе с ними через Атлантику, в Литву, чтобы там представить свою формулу самому виленскому раввину.

– Я поеду с тобой, – заявила Крейндел.

Он пытался возражать, говоря, что путешествие будет долгим и трудным.

– Я не боюсь трудностей, – твердила девочка. – Всевышний избрал тебя для этой роли и послал меня тебе в помощь. Я буду твоей поддержкой, как Мириам для Моисея.

Наконец ее отец сдался. Ни у одного из них не хватило мужества произнести вслух очевидное: Лев так ослабел, что проделать этот путь в одиночку ему едва ли было бы под силу. Малейшее усилие утомляло его, он едва мог есть, а сон его был прерывистым и полным пугающих сновидений. Зрение у него тоже ухудшилось: он видел все словно сквозь мерцающую золотистую пелену. Он запретил Крейндел не то что читать его книги, но даже прикасаться к ним – но теперь написал на листке бумаги команду, оживлявшую голема, и велел дочери затвердить ее наизусть на тот случай, если он лишится зрения окончательно. Она сделала, как ей было велено, а потом сожгла листок в камине, после чего присела на край кровати, на которой лежал голем, рядом с отцом.

– Как мы его назовем? – спросила она.

Ее отец улыбнулся.

– Ты никогда не видела своего деда Йосселе, да будет благословенна его память, – сказал он. – Он был крупный мужчина, как наш голем, но кроткого нрава, не буян. Давай назовем его Йосселе и будем надеяться, что вместе с именем к нему перейдут и лучшие качества моего отца.

6

7 июня 1908 года

«Звезда Америки»

АМХЕРСТ-БИЛДИНГ ПЕРЕХОДИТ В СОБСТВЕННОСТЬ ДВУХ СИРИЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ

На первом этаже открывается железодельный цех.

Подтверждением того, что ремесленники из Маленькой Сирии наконец-то заслуженно утверждаются в этом городе, может служить торжественное открытие обновленной мастерской «Арбели и Ахмад, работы по металлу», на новом месте в Амхерст-билдинг на Вашингтон-стрит. Партнеры Бутрос Арбели и Ахмад аль-Хаидид теперь являются его новыми собственниками, а также занимают весь первый этаж здания. Несмотря на то что мастерская значительно увеличилась в размере, они останутся единственными ее работниками и продолжат производить свои товары вручную.

Многие из их соседей пришли вчера сюда, чтобы отпраздновать это радостное событие. Гостей пригласили в мастерскую, где они смогли полюбоваться некоторыми творениями владельцев, а также их рабочими инструментами. Мистер Арбели произнес короткую речь, в которой поблагодарил соседей за поддержку, после чего ровно в полдень мистер аль-Хаидид торжественно развел огонь в новом кузнечном горне.

Амхерст-билдинг располагался на юго-западном углу перекрестка Вашингтон- и Карлайл-стрит и представлял собой одинокое производственное здание в вытянутом квартале многоквартирных домов. Квадратное и невыразительное, оно возвышалось над всеми своими соседями – пять этажей чистой утилитарности без малейшей оглядки на эстетику. Над входной дверью, зажатой между рядами застекленных окон, выходивших на Вашингтон-стрит, сиротливо значилось одно-единственное слово: «Амхерст».

Внутри перегородка из грубо оштукатуренной драни разбивала первый этаж на две приблизительно равные части. На северной стороне находился демонстрационный зал, где потенциальные клиенты могли рассмотреть товары и сделать выбор. А на южной располагалась мастерская: обширное, похожее на пещеру пространство – царство жара и теней, в конце которого рдел огонь в новом кузнечном горне.

Горн был гордостью Джинна. Размером приблизительно с обеденный стол, он был установлен на облицованном асбестом бетонном основании, которое делали на заказ. Вместо громоздких старых мехов появился электрический вентилятор, дававший возможность тончайшего регулирования потока воздуха. Вытяжка из нержавеющей стали слепила глаза. Когда Джинн раскочегаривал печь на полную мощность, она издавала низкий рокот, похожий на далекие раскаты грома, – звук, который можно было не только услышать, но и ощутить.

Покупка Амхерста изменила все. У Джинна наконец-то появилось место, где он мог без помех погрузиться в работу. Никто больше не брал без спросу его инструменты, никто не лез под руку. Отныне Арбели сидел у входа в демонстрационный зал, в другом конце этажа, целиком и полностью поглощенный ведением дел своей мастерской и всего Амхерста. Он даже преодолел свою неприязнь к телефону и теперь часами кричал в трубку, ругаясь с водопроводчиками, стекольщиками и поставщиками. Порой партнеры бывали настолько заняты каждый своими заботами, что за день хорошо если успевали перекинуться парой слов.

Однако этим теплым августовским утром Арбели, казалось, был озабочен исключительно чистым листом бумаги, над которым сидел с ручкой в руке. По подсчетам Джинна, это была уже третья попытка его партнера написать письмо – первые две отправились в мусорную корзину. Когда Джинн подошел к его столу, Арбели перечеркнул какую-то строчку, потом с раздражением скомкал бумагу и отправил следом за предыдущими.

– Что это ты пишешь? – поинтересовался Джинн.

– Ничего, – как-то чересчур уж поспешно отозвался Арбели. Он провел рукой по бювару, точно стряхивая с него остатки своих мыслей. – Просто письмо на родину.

Джинн подозрительно посмотрел на партнера. Арбели ездил домой, в Захле, после того как они купили Амхерст, чтобы проследить за здоровьем матери и уладить кое-какие семейные имущественные дела. Вернулся он в странно переменчивом состоянии духа – был то оживлен, то подавлен, – но про саму поездку почти ничего не рассказал, обмолвился лишь, что мать и тетки закармлили его чуть ли не до смерти. Джинн тогда списал его странное состояние на покупку Амхерста и все связанные с ней тревожения. А вот теперь у него появились сомнения.

«Я обязана задать вопрос, что случилось, – вспомнились ему слова Голема, – или я буду заносчивой и черствой».

– Я на крышу, – сказал он. – Не хочешь со мной?

Арбели вздохнул, явно не слишком горя желанием лезть на крышу в августовскую жару, но потом все-таки кивнул. Открыв жестяную коробку печенья, стоявшую у него на столе, он сунул в карман щедрую пригоршню ее содержимого.

– Не могу разочаровывать ребятишек. – Он махнул в сторону двери. – Иди вперед.

Они прошли через неприметного вида дверь и очутились в железной сказке. Арбели на протяжении нескольких недель тщательно продумывал и организовывал демонстрационный зал, разбив его на индивидуальные секции, в которых сгруппировал отдельно ворота и ширмы, каркасы кроватей и трюмо, лампы и канделябры – лишь для того, чтобы в утро торжественного открытия прийти и обнаружить, что Джинн за ночь все переставил по-своему. Теперь они шли по дорожке, с двух сторон обрамленной кованой оградой – по колено высотой – в виде сплетенных королевских лилий, мимо шезлонгов с набросанными на них мягкими подушками и расставленными между ними ажурными ширмами, залитыми сверху светом от подвешенных на затейливых цепочках ламп. Фигурные ворота открывали дорогу к обеденному столу, на котором красовались искусно сработанные столовые приборы. Полукруглая скамья огибала ствол

железного дуба, чьи корявые ветви были увешаны фонарями и музыкальными подвесками. Под сенью дуба стояла кованая кровать с настоящими подушками и постельным бельем, застеленная стеганым покрывалом, усыпанным листьями из тончайшей оловянной фольги. Выглядело это настолько нескромно, что Арбели, увидев, задохнулся от возмущения и покраснел до ушей – и тем не менее даже он вынужден был признать, что, если отвлечься от намека на плотские наслаждения, расстановка Джинна выглядела куда более привлекательно, чем то, что придумал он.

В конце зала находилась массивная дверь, которая вела на лестничную площадку. Они открыли ее и двинулись вверх, по очереди проходя мимо каждого из своих съемщиков. Кружевной цех занимал полностью второй и третий этажи; за открытыми дверями сидели, склонившись над грохочущими станками, десятки девушек; руки их проворно летали туда-сюда. На четвертом этаже размещался кондитерский цех, откуда постоянно пахло сахаром и ванилью. Работники в белых фартуках, раскрасневшиеся от жары, высыпали на площадку покурить и немного охладиться. Бригадир, который тоже был среди них, горячо приветствовал Арбели. Тот навсегда завоевал его сердце, собственными руками переложив капризную газовую трубу, и в знак своей безграничной благодарности бригадир, судя по всему, дал обет до конца жизни бесперебойно снабжать своих арендодателей свежайшим печеньем. Они заверили его, что печенье у них еще уйма, после чего пожелали хорошего дня и двинулись по лестнице мимо последнего, пятого этажа, где располагалось сигарное производство, добавлявшее терпкую табачную нотку в и без того нагретый и пропитанный запахами воздух. Табачники, впрочем, в отличие от кондитеров были ребятами неразговорчивыми и лишь молча кивнули, когда Джинн с Арбели проходили мимо.

Наконец, открыв дверь, они очутились на свежем воздухе – и теперь уже ребятишки, которые играли на крыше Амхерста в шарики и в бабки, вскочили на ноги и облепили Арбели. Тот расплылся в улыбке, даже думать забыв про свое дурное настроение, и, точно фокусник, принялся одно за другим извлекать из карманов печенье.

Джинн устроился на своем всегдашнем месте на краю крыши, на отшибе от остальных, и принялся сворачивать самокрутку. Ему нравилось наблюдать за Арбели в такие моменты. Если не считать странных приступов хандры, в последнее время его партнер казался более решительным, более уверенным в себе. Когда Сэм Хуссейни или Томас Малуф останавливались перекинуться с ним словечком, в их взглядах сквозило непривычное уважение. И Мариам тоже на торжественном открытии смотрела на Арбели с нескрываемой гордостью; однако, стоило ей перевести взгляд на Джинна, как улыбка ее, по обыкновению, померкла. Порой он задавался вопросом, какой самоотверженный поступок или какая жертва с его стороны способны завоевать уважение этой женщины, но подозревал, что это ему не под силу.

Быстро справившись с печеньем, ребятишки вернулись к своим играм. Арбели отрянул руки от крошек и, подойдя к Джинну, устремил взгляд поверх узкой полоски соседних крыш на портовые сооружения. Долгое время ни один из них не произносил ни слова. Взгляд Арбели снова помрачнел и стал отсутствующим. Что же за думы его снедают? Джинн затушил самокрутку, собрался с духом...

– Как продвигается работа над конечниками? – неожиданно спросил Арбели.

Решимость Джинна развеялась, как дым от порыва ветра.

– Они уже наполовину готовы, – ответил он. – Несколько последних оказались слишком хрупкими – думаю, я сделал не тот сплав.

Арбели кивнул.

– Тогда, наверное, лучше нам не терять попусту времени.

И они двинулись обратно по лестнице на первый этаж, где обнаружили перед столом Арбели ожидавшую их хорошо одетую семейную пару, напряженно косившуюся по сторонам,

словно они опасались, как бы обитатели Маленькой Сирии их не съели. Арбели поспешно повел супругов в демонстрационный зал, и Джинн остался в одиночестве.

Это, пожалуй, было даже хорошо. Как его партнер и сказал, времени попусту лучше было не терять. Он отвернулся от стола Арбели и направился в кладовую.

Кладовая тянулась вдоль всей длины мастерской. В ширину она составляла футов, наверное, двадцать, хотя из-за высокого потолка казалась намного уже – таким ущельем с окнами. Джинн прошел мимо стеллажей с разнокалиберным железным прутком, с лотками с порошком, с недоделанными заказами, мимо подъемника, на котором из подвала доставляли уголь. В дальнем конце кладовой за стеллажом была натянута плотная черная штора. Если не знать о ней, можно было с легкостью принять ее за стену.

Джинн проскользнул между стеллажами, поднырнул под штору и оказался в своем личном царстве.

Это был маленький квадратный закуток, угнездившийся в самом углу здания, с замаскированными черной краской окнами, чтобы туда не заглядывали со двора любопытные соседские ребята. Черная краска там и сям уже облупилась, и в комнату пробивались тонкие лучики солнечного света. С другой стороны к стене вплотную примыкал горн, жар от которого чувствовался даже через штукатурку. Джинн принес сюда из дома какие-то коврики и подушки, а также несколько старых ажурных фонарей, предназначенных скорее служить украшением, нежели что-то освещать. Рядом штабелем были сложены чугунные заготовки, а также стояла жестяная лохань с водой, где он охлаждал свои творения, и сачок, при помощи которого он вылавливал их из воды. Арбели в шутку называл этот закуток пещерой Али-Бабы и неизменно добавлял что-то про *сим-сим*, но Джинн считал за лучшее не спрашивать, что это такое. Временами в закуток проникал шум со двора, в особенности по понедельникам, когда женщины выстраивались в очередь за водой к колонке, – но в общем и целом более уютного помещения он и пожелать не мог.

Джинн уселся на подушку, вытащил из кучи заготовок железный прут и принялся за работу.

В пекарне Радзинов рабочий день подходил к концу. Мо Радзин ворошил угли в печах, в то время как Тея заверяла выстроившихся в очередь к прилавку покупателей, что хал, разумеется, хватит всем желающим; ее девушки всегда выпекали их в достатке. Голем уже протирала разделочный стол, и тут в запертую входную дверь постучали. На пороге стояла молодая женщина и махала рукой через стекло.

– Сельма! – воскликнула Тея и бросилась отпирать дверь.

Голем улыбнулась. Она тоже была рада видеть Сельму Радзин; в ее присутствии беспокойство, которое стало постоянным спутником Теи с тех пор, как Сельма в приступе независимости перебралась в «Асторию», немного отпускало ее. «И что ей дома-то не живется, как всем нормальным девушкам?» – рыдала Тея, отдавая себе, впрочем, отчет, пускай и смутно, что причиной тому стало не что иное, как чрезмерная опека с ее стороны. В конечном итоге битву за независимость Сельма выиграла, хотя все равно каждую неделю по просьбе матери приходила домой на шаббатный ужин.

Девушка сняла шляпку и терпеливо вынесла поцелуи, которыми, по своему обыкновению, бросилась осыпать ее Тея, и сухой чмок Мо в щеку. Потом повернулась поздороваться с Големом – и замерла, озадаченно сведя брови. «Почему, – промелькнула в ее сознании мысль, – Хава совсем не стареет?»

В следующий миг Сельма уже выкинула эту мысль из головы и оживленно рассказывала родителям обо всем, что произошло за неделю, о проделках ее подруг и соседок по комнате. Но промелькнувшая у нее в голове удивленная мысль продолжала эхом звучать в сознании Голема, точно набат, возвещавший беду.

Торопливо попрощавшись, она поспешила к себе в пансион, где достала маленькое зеркальце, уселась на постели и долго разглядывала свое лицо. Широко расставленные глаза, нос с горбинкой. Выющиеся волосы до плеч. Все это было в точности таким же, как в тот день, когда она была создана. А теперь кто-то раскрыл правду, пусть даже самый маленький ее краешек.

Как она могла быть такой душой? Почему ей никогда даже в голову это не приходило? Она что, думала, что будет работать в пекарне до скончания веков и никто ничего не заметит? Может, попытаться имитировать морщины и седину при помощи косметики, как это делают актеры в театре? Нет, не выйдет, вблизи это будет слишком сильно бросаться в глаза. А скоро и остальные тоже начнут замечать, иначе просто и быть не может. Какая-нибудь покупательница невзначай обронит в разговоре с подругой: «Ты знаешь, эта Хава, кажется, совсем не меняется с возрастом», а подруга ответит: «Да, я тоже обратила на это внимание». Вскоре любопытство начнет перерастать в подозрения – и чем дольше она будет оставаться в пекарне, тем сильнее они будут становиться. Неужели ей придется уйти от Радзинов? Но куда она пойдет? Пекарня с ее устоявшимся режимом стала в буквальном смысле фундаментом ее жизни. Ей придется с мясом выкорчевывать себя оттуда и снова начинать все сначала...

Что-то хрустнуло, и она поняла, что деревянная ручка зеркальца раскололась у нее в руке.

Хава поспешно отложила зеркало. Она не могла больше ни секунды оставаться в своей крохотной комнатке, все ее существо требовало движения, гнало ее на улицу – но Джинн обещал прийти не раньше полуночи. Солнце уже садилось за крыши, расчерчивая их длинными тенями. Еще немного, и женщине находиться на улице без сопровождения будет неприлично. Если она хочет выйти, надо сделать это сейчас.

Она набросила плащ и пошла в Маленькую Сирию, пытаясь сделать вид, что спешит по делам, чтобы не вызывать ничьих подозрений. И тем не менее, когда она заходила в его дом, сразу несколько соседей с любопытством взглянули на нее: никак это дама Бедуина? Вдобавок дверь ей никто не открыл, и в квартире не было видно света. Скорее всего, Джинн был в мастерской: с тех пор как они с Арбели купили Амхерст, работы у обоих стало непереворот. Но если она сейчас пойдет в Амхерст, то привлечет к себе еще больше внимания. Так что придется ей ждать его здесь.

Она открыла дверь своим ключом, сняла плащ и нахмурилась. Как обычно, в квартире царил страшный беспорядок. Шкаф стоял нараспашку, из корзины для грязного белья внутри него свисали брюки. На комод как попало валялись запонки; подушки на кровати были свалены в кучу, постель сбита. Иногда ей казалось, что он делает это нарочно, в пику ее организованности. «Ты не будешь пытаться ничего здесь прибрать, – сказала она себе. – Это его квартира и его бедлам». Но беспорядок действовал на нее и без того взвинченные нервы, и не успела Голем оглянуться, как уже разбирала запонки по парам, развешивала брюки на вешалки и ворочала тяжеленный матрас, чтобы туго натянуть простыню по углам. Он на нее рассердился, но сейчас это казалось ей меньшим из двух зол, потому что помогало успокоиться. И потом, чем ей еще было *занять* себя в ожидании?

– Ты сегодня допоздна?

Джинн вскинул глаза, оторвавшись от работы. Арбели просунул голову за занавеску и теперь подслеповато шурился в темноте, пытаясь разглядеть, чем занят его партнер.

– Думаю, придется, – отозвался он. – Но я прилично продвинулся. Остальные будут готовы к завтрашнему дню.

Он протянул Арбели один из готовых наконечников: удлиненное завихрение волокон, сходящихся в одной точке, – стилизованное пламя, запечатленное в железе.

Арбели любовался им, кивая, но мысли его явно были заняты чем-то другим. Наблюдая за ним в свете фонарей, Джинн не мог не заметить ни серебристую седину, начинавшую

пробиваться в зачесанных назад волосах его партнера, ни новые морщинки, прорезавшие его лицо. Видеть, как люди стареют, было пугающе.

– Это изумительно, – произнес Арбели, протягивая Джинну наконечник. – Ладно, спокойной ночи.

– Спокойной ночи. – Потом, поддавшись какому-то порыву, окликнул: – Арбели!

Но было уже поздно: его партнер ушел, и лишь легонько колыхавшаяся занавеска напоминала о том, что он вообще здесь был. Джинн негромко вздохнул и вновь принялся за работу.

Когда он закончил последний наконечник, было уже часов, наверное, десять. В здании было тихо, на улице не очень: ночь выдалась теплая, и во дворе все еще было полно народу: женщины болтали и бранили ребятишек, а мужчины играли в нарды при свете фонарей, дожидаясь, когда в их квартирах станет попрохладнее и можно будет попытаться заснуть. Он загасил огонь в горне, повесил фартук на крючок и направился к выходу, но уже у самой двери остановился. На стол Арбели падал свет уличного фонаря; рядом стояла полная мусорная корзина. Джинн немного подумал, потом вытащил лежавший на самом верху смятый лист бумаги, расправил его и принялся читать:

Дорогая Рафка,

я должен извиниться перед тобой. Я был не прав, когда подал тебе надежду. Пожалуйста, поверь мне, когда я говорю, что вина во всем лежит исключительно на мне. Я должен честно тебе признаться, хотя мне следовало бы сделать это еще в Захле, что я принял решение никогда не жениться. Есть один секрет, который я не могу раскрывать, поскольку он имеет отношение к жизни другого человека и я не вправе никому о нем рассказывать. Возможно, ты сказала бы, что будешь хранить эту тайну вместе со мной ради нашего брака, – но временами она лежала на моей душе тяжким бременем, бременем, которое я не решаюсь разделить с кем-то, кого я

На этом месте письмо обрывалось.

Джинн снова скомкал бумагу и бросил обратно в мусорную корзину, горячо жалея о том, что позволил любопытству взять над собой верх. И как ему теперь жить с мыслью, что он лишил Арбели шанса на любовь? Нет, он не только сию минуту заметил и то, что его партнер упорно не желал расставаться с холостой жизнью, и то, как он нагружал себя работой, чтобы не оставалось времени больше практически ни на что. Он просто считал, что это жизнь Арбели и только ему решать, что с ней делать. Теперь же ему хотелось кричать: «Я не просил тебя выпускать меня из кувшина! Можешь растрезвонить обо мне хоть всему миру, если хочешь!» Это было несправедливо и жестоко, он знал. Он решил, что забежит домой переодеться, а потом прогуляется в одиночестве, прежде чем идти к Голему. Это даст ему время успокоиться и подумать о том, что он скажет Арбели завтра утром.

Он дошел до дома и уже готов был переступить порог своей квартиры, когда до него донеслись решительные шаги из-за двери напротив. Спасаться было поздно – дверь распахнулась, и на пороге появилась его соседка Альма Хазбун в атласном халате, под которым, судя по всему, ничего не было. Ее распущенные волосы были растрепаны, зрачки в тусклом свете казались огромными.

– А, – протянула она с притворным удивлением в голосе, – это ты.

– Добрый вечер, миссис Хазбун, – отозвался он настороженно.

Он как-то пожаловался на Альму Арбели и узнал, что та пользовалась в округе дурной славой. «Не повезло тебе с соседкой», – сочувственно сказал ему тогда партнер.

Женщина выплыла в коридор, преградив ему путь.

– Я же тебе сказала, чтобы ты звал меня просто Альмой. – Язык у нее заплетался. – Не хочешь заглянуть ко мне на огонек?

– Нет, спасибо.

– Мой муж в отъезде. – Ее губы изогнулись в улыбке. – Я приготовлю тебе поесть.

– Я не голоден, – ответил он.

– Ты всегда отказываешься, – надулась она с напускным огорчением. – А та, другая девушка, я смотрю, тебе очень даже нравится. Которая сейчас у тебя в квартире.

– Прошу прощения? – нахмурился Джинн.

– Она сейчас у тебя в квартире, – повторила Альма, повысив голос. – Эта твоя еврейка, высокая такая, которая одевается как учительша. Я видела, как она заходила.

Хава пришла к нему одна, ночью? Что должно было произойти, чтобы она решилась на такое? Он решительно протиснулся мимо Альмы – та возмущенно взвизгнула – и положил руку на дверную ручку. Дверь оказалась не заперта. Голем находилась от него всего в нескольких футах. И разумеется, все слышала.

Он собрался с духом и открыл дверь.

Она стояла у окна в дальнем конце комнаты, глядя вниз на улицу, как будто провела за этим занятием последние несколько часов. Выдавала ее юбка: подол все еще колыхался, как будто она только что перебежала к окну с другого места.

Джинн закрыл дверь и осторожно подошел к ней.

– Хава?

– Прости, – пробормотала она в ответ. – В пекарне кое-что произошло, и мне нужно было тебя увидеть. Я не хотела... Не надо было мне приходить.

Она произнесла все это, не оборачиваясь.

– Она любительница опиума, Хава, – сказал он. – И обладательница определенной репутации.

– Я знаю.

В ее голосе прозвучали нетерпеливые нотки. Разумеется, она почувствовала и опиумный дурман, и вожделение, снедавшее женщину. Как наверняка должна была и понять, что это был далеко не единственный их такой диалог. Он приготовился к обвинениям.

Она наконец повернулась к нему.

– А ты знаешь, что ее муж отказывается давать ей развод?

Джинн озадаченно захлопал глазами.

– Ей невыносимо с ним оставаться. Она надеется, что, если она достаточно опустится в его глазах, он не захочет больше иметь с ней дела. А ты мужчина неженатый, можно не бояться разрушить семью.

Теперь он припомнил, что не раз видел на руках Альмы следы застарелых синяков. Он всегда списывал их на ее образ жизни.

– Ты защищаешь женщину, которая только что пыталась затащить меня в постель? – спросил он озадаченно.

– Разумеется, нет. Она не должна была этого делать. Но она загнана в ловушку, и ей очень плохо.

Джинн окончательно перестал что-либо понимать.

– В чем тогда ты меня обвиняешь? – спросил он раздраженно.

– Ты не желаешь видеть людей вокруг себя. – В глазах ее блеснул гнев. – Эта женщина – твоя соседка, но ты считаешь ее прилипалой с дурной репутацией! Ты, который даже не признает моногамии!

Теперь и он тоже рассердился.

– А кем я, по-твоему, должен ее считать, Хава? Я вроде как член общества, так ведь? Если все остальные считают ее прилипалой, то и я тоже считаю!

Она сложила руки на груди.

– Кто еще живет на твоём этаже, кроме Хазбунов?

– Прошу прощения?

– Другие твои соседи, эти самые «все остальные», с которых ты берешь пример. Будь так добр, назови мне хотя бы пятерых. Ладно, троих.

Это уже начинало походить на бред.

– Элиас Шама, квартира сбоку, – начал перечислять он. – Маркус...

Нет, спохватился он, Маркус Майна – это предыдущий жилец. А того молодого человека, который живет в его квартире теперь, зовут... как же его зовут? Джинн мог воспроизвести в памяти его лицо, но узнать имя так и не удосужился. Он напряг память. Мужчина, который жил сбоку от Хазбунов, женился и переехал в Бруклин, а в его квартире поселилась пожилая чета, муж и жена, которые в его присутствии называли друг друга исключительно «хабиби» и «хабибти». В квартире рядом с ними жила семья по фамилии Надер, но они, видимо, тоже съехали, потому что он уже довольно давно не слышал их пианино. Наконец он вспомнил парнишку из квартиры в конце коридора – его мать постоянно кричала: «Рами, паршивец, а ну поди сюда немедленно!»

– Рами! – сказал он.

Хава вскинула бровь.

– *Рами?*

– Я почти никогда здесь не бываю! – вспыхнул он. – И потом, что я могу сделать, если они все время переезжают? Только я успеваю с ними познакомиться, как они уже тут не живут! – Это была чистая правда, вдруг осознал он: в какой-то момент он так устал от постоянно меняющихся лиц, что просто перестал спрашивать. И тем не менее они все откуда-то знали, кто *он* такой. Бедуин. Странный партнер Арбели. Тот, кто гуляет по крышам со своей подругой. – Ты хочешь от меня невозможного, Хава, – сказал он ей. – У меня нет твоих талантов. Я не сомневаюсь в том, что у Альмы не самая легкая жизнь, но, когда она предлагает мне себя в коридоре, все, что я вижу, – это женщину, которая хочет от меня того, чего я не имею права ей дать.

Глаза Голема расширились.

– Не имеешь права?

Он закрыл глаза, с трудом подавив желание выругаться. Формулировка была не самая удачная, и ему следовало бы взять свои слова назад – но он не мог заставить себя сделать это. Для одного вечера он уже и так получил достаточную порцию стыда.

– А разве это не так? – сказал он. – Если я неверно понимаю наши взаимные обещания, скажи мне об этом, и я соблазню каждую женщину на этой улице.

– Это не смешно, Ахмад.

– Когда я вошел, у меня было отчетливое впечатление, что ты стояла под дверью и слушала.

Хава вскинула подбородок.

– Я подошла к двери только потому, что услышала в коридоре твой голос.

– Значит, ты собиралась поздороваться со мной? Находясь в моей квартире без сопровождения, прямо на глазах у соседки, которая стояла всего в нескольких шагах от двери?

– Разумеется, нет. Я всего лишь хотела убедиться, что это ты.

Он усмехнулся.

– Стены здесь очень тонкие, а слух у тебя очень острый. В этой комнате нет ни единого уголка, откуда ты не смогла бы распознать мой голос. А вот чего ты не смогла бы сделать на расстоянии, так это заглянуть в мысли Альмы Хазбун достаточно глубоко, чтобы убедиться, что я ни разу не поддался на ее поползновения. Для этого тебе нужно было подобраться как можно ближе.

На ее лице виноватое выражение боролось с вызовом.

– У тебя повернется язык меня обвинить? Мысли у нее были довольно откровенные. Я не смогла определить, фантазии это или воспоминания, потому что ее сознание было затуманено опиумом.

– А если бы вместо этого ты просто подождала и спросила меня? Ты поверила бы моему ответу? Поверила бы безоглядно, не пытаясь искать подтверждения моим словам в ее мыслях?

Она открыла было рот, потом на мгновение заколебалась – но этого оказалось достаточно.

Джинн издал странный резкий звук и отвернулся от нее.

– Я никогда не смогу завоевать твое доверие. Если бы ты могла, ты вскрыла бы мое сознание, как устрицу. Это ты несешь ответственность за все свои страхи и недоверие, Хава, а не я. Если бы ты была джиннией, то...

Он осекся и умолк.

Ее глаза расширились.

– То что, Ахмад? Если бы я была джиннией, то что?

Но он молчал, всем своим существом излучая досаду.

Голем издала сердитый смешок.

– Вот видишь? Ты утвердишь, что я должна тебе верить, а сам отказываешься говорить! Дразнишь меня загадками, но не говоришь ничего!

Она проскочила мимо него в коридор и захлопнула за собой дверь.

«Это не моя вина, – подумал он. – Я выполнил все, о чем она просила, и все равно она упорно в чем-то меня подозревает, хотя я ни в чем перед ней не виноват!»

Он оглядел пустую квартиру, которая теперь прямо-таки колола ему глаза своей чистотой. А ведь Хава так и не сказала ему, что привело ее в Маленькую Сирию. Его взгляд упал на аккуратно заправленную постель – и на ее плащ, лежавший поверх покрывала. Она так торопилась уйти, что забыла его.

Чертыхнувшись, Джинн схватил плащ и поспешил за ней.

* * *

Наконец голем Альтшулей был готов.

Отец с дочерью в напряженном молчании заканчивали последние приготовления. Крейндел собрала небольшой саквояж, достаточно легкий, чтобы она могла сама нести его. Драгоценные книги уже лежали в чемодане. У них было отложено достаточно денег, чтобы купить два билета в каюту третьего класса на пароход, который отходил в Гамбург завтра днем. Оставалось только дожидаться, когда все соседи улягутся спать, и испытать свое детище.

И тем не менее следовало принять во внимание возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. У них могло не получиться оживить голема с первой попытки. Старейшины из синагоги могли решить в самый неподходящий момент провести выздоравливающего равви. Поэтому равви Альтшуль на всякий случай написал президенту синагоги коротенькую записочку с просьбой не беспокоить его еще неделю. Рисковать нести ее сам он не мог, поэтому поручил это Крейндел.

– Возвращайся скорее, – велел он. – У нас еще много дел.

В общем коридоре тянуло дымом, и Крейндел удивилась – неужто уже успела наступить осень? Но на улице стояла теплая летняя ночь, тихая и спокойная. Девочка перебежала пустынную улицу, отперла дверь синагоги, прошла по гулкому святилищу в кабинет президента и положила записку на стол.

А потом она вдруг заколебалась. Здесь, в темной синагоге, ей внезапно стало одиноко и страшно. Ее отец смертельно болен, а ей всего одиннадцать лет. Как она повезет его к виленскому раввину, если никогда не бывала даже за пределами Нижнего Ист-Сайда? А вдруг отец не переживет путешествия? Что она тогда будет делать?

На глазах у нее выступили слезы, но она утерла их. Ее отец – святой человек, и сам Всевышний привел его на этот путь. Она не должна позволять себе усомниться в их цели.

Оставив записку на столе, Крейндел прокралась через синагогу обратно к выходу и открыла дверь – и только тогда увидела кубы густого дыма и услышала крики собирающейся толпы.

Лишь на полпути к дому Голем спохватилась, что забыла свой плащ.

Первым ее побуждением было развернуться и пойти обратно. Находиться в одиночестве на улице в такой поздний час в одной блузке с юбкой значило нарываться на неприятности. Но мысль о том, чтобы вернуться в квартиру Джинна и униженно постучаться в дверь, была ей просто невыносима, поэтому она поспешила по Бродвею дальше, мимо закрытых ставнями витрин лавок, сиявших в свете уличных фонарей.

«Это не моя вина», – подумала она сердито. Но разве могла она объяснить ему, что исходило от миссис Хазбун? Нарастающее возбуждение, надежда и вожеление; мелькающие у нее перед глазами образы его, обнаженного, в ее постели; черное отчаяние, скрывающееся подо всем этим, страх перед побоями мужа – и все это приправлено опиумным дурманом, который делал ее мысли похожими на тягучее тесто, льющееся из миски. А потом...

«Эта твоя еврейка, высокая такая, которая одевается как учительша...»

Она увидела себя глазами этой женщины: непривлекательная дылда в ботинках на пуговицах и старомодном плаще, с худым и бледным лицом, на котором застыло недовольное выражение. Карикатура, и притом совершенно беспощадная, – но в свете собственных фантазий карикатура эта показалась Голему подтверждением всех ее мучительных сомнений в себе самой. «Ты надоешь ему, и он нарушит свое обещание, – казалось, говорила она. – Это всего лишь вопрос времени». Эта мысль причинила ей боль, а поскольку схлестнуться с Альмой Хазбун она не могла, досталось Джинну.

«Если бы ты была джиннией...» Упомянул ли он до этого хоть раз в ее присутствии это слово?

Она свернула на Гранд-стрит, поморщившись, когда водитель проезжавшего мимо фургона засвистел ей. Вряд ли кто-то мог принять ее за проститутку, но полицейским нужно было выполнять разнарядки. Она в красках представила, как проведет ночь за решеткой, а потом вынуждена будет объяснять Радзинам свое отсутствие на рабочем месте.

Подходя к Лафайетт-стрит, она услышала справа чьи-то шаги: быстрые и решительные, они определенно должны были пересечься с ее шагами. Напуганная, она попыталась прощупать мысли своего преследователя, но ничего не почувствовала – и немедленно поняла, кто это, еще даже до того, как повернулась и увидела Джинна с ее плащом в руках.

Первой ее реакцией было неизмеримое облегчение, но это лишь еще больше ее рассердило. Она ускорила и без того уже быстрый шаг и пошла дальше.

– Хава, – позвал Джинн, пытаясь нагнать ее. – Постой.

– Я не хочу с тобой разговаривать.

Его лицо на миг исказило выражение неподдельной боли. Ей стало совестно, и она готова уже была смягчиться, но тут в ее сознание холодной змеей вполз непонятный страх. *Скорее, надо будить детей и соседей, снимать со стены свадебную фотографию и посеребрённые подсвечники, а потом бежать вниз, по лестнице...*

Озадаченная, она вскинула голову и увидела столб дыма и зарево, занимающееся на фоне ночного неба.

– Хава?

Но теперь и Джинн тоже встревожился.

На Форсит-стрит что-то горело.

Пожар начался на втором этаже с непотушенной сигареты – ее хозяин проснулся, обнаружив, что вся спальня объята огнем. Поток воздуха от открытого окна раздул пламя и погнал

его к воздуховоду, по которому оно стремительно взбежало вверх до самой крыши. Здание было старое, построенное еще до жилищных реформ, поэтому ни железных лестниц, ни кирпичных перегородок, способных замедлить распространение огня, в нем не было – лишь сухое старое дерево от одного конца дома до другого.

Голем завернула за угол и очутилась на Форсит-стрит, Джинн бежал следом за ней. Их глазам немедленно открылось пугающее зрелище: прибывающая толпа, клубящаяся чернота, оранжево-красные сполохи. Жители выскакивали на улицу в пижамах и ночных сорочках, давясь кашлем и слезами, вытаскивая перепуганных детей, перины, стулья. Их ужас накрывал Голема с головой, лишая последних остатков самообладания. Она должна им помочь, но как...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.